

'83

АВРОРА



«Октябрь в Петрограде»

В НОМЕРЕ:

Рассказывает Сергей Бондарчук**Михаил Дудин о Николае Тихонове****Статья Владимира Дорофеева
«ТАМ, ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ»****Стихи Глеба Горбовского****Детектив Александра Шалимова
«ЦЕЗАРЬ, НАСЛЕДНИК ЦЕЗАРЯ»**

Новый раздел:

РАЗМЫШЛЯЯ НАД КНИГОЙ...**11**

МИРУ - МИРА

ДА-БЕЗЪЯДЕРНЫМ
ЗОНАМ!



Издается
с июля 1969 года

АВРОРА

Ноябрь

Общественно-политический
литературно-художественный
ежемесячный журнал
ЦК ВЛКСМ
Союза писателей СССР
Союза писателей РСФСР

ЛЕНИЗДАТ

СОДЕРЖАНИЕ

На первой
странице
обложки
работа
художника
В. Курдова
«Октябрь
в Петрограде»
Антивоенный
митинг
в Москве

Нет ничего важнее, чем мир	3
С. Бондарчук. Киноэпос революции	8
М. Дудин. Время и поэт. Поэт и время	13
ПАМЯТЬ	25
А. Межиров. Воспоминание о пехоте	29
В. Дорофеев. Там, за Полярным кругом	31
Г. Горбовский. Стихи	38
О Афанасьев. Занятие на всю жизнь. Рассказ	41
В. Калинин, В. Родионов. Стихи	49
Б. Никольский. Утренняя прогулка по Вашингтону, или Раздумья на Арлингтонском кладбище	51
А. Шалимов. Цезарь, наследник Цезаря Политический детектив	58
ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ	98
И. Фомин. Стихи	101
В. Дитц. Музы и ребяческие сны...»	103

СУДЬБЫ И СТИХИ	110
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?..	112
В. Мигицко. Игра на кубок. Рассказ	121
Е. Серебрянская. Стихи	129
ТЕТРАДЬ ПИСАТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПРОХОРОВА	130
В. Попов. Дорога до К. Сатирический рассказ	136
КОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК	150
Р. Миропольская. Век нынешний и век минувший	158

Главный редактор
Эдуард ШЕВЕЛЕВ

Редакционная коллегия:

Владимир АКИМОВ
Владимир ВЕТРОГОНСКИЙ
Глеб ГОРБОВСКИЙ
Михаил ДУДИН
Вильям КОЗЛОВ
Юрий КОРОБЧЕНКО
(зам. главного редактора)
Евгений КУТУЗОВ
Владимир МАЛЮТИН
Валентина МАТВИЕНКО
Борис НИКОЛЬСКИЙ
Людмила РЕГИНЯ
Юрий РЫТХЭУ
Алексей САМОЙЛОВ
Вольт СУСЛОВ
Никита ТОЛСТОЙ

Художественный редактор В. Бабанов
Технический редактор З. Оганова
Корректор Т. Княжицкая

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191187, ЛЕНИНГРАД, ЛИТЕЙ-
НЫЙ пр., 9. Телефон 273-33-90.
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023,
Ленинград, наб. р. Фонтанки, 59
М-10950. Сдано в набор 9.08 1983 г. Подписано в печать
16.12 1983 г. Формат 80×108¹/₃₂. Печ. л. 5 (усл. печ. л.
8,4). Уч.-изд. л. 12. Тираж 127 700 экз. Зак. 248. Цена
50 коп. Ордена Трудового Красного Знамени типогра-
фия им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград,
наб. р. Фонтанки, 57.



НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ, ЧЕМ МИР

27—29 сентября. Москва. По приглашению Ленинского комсомола сюда приехали руководители союзов молодежи стран социалистического содружества — Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германской Демократической Республики, Кубы, Лаоса, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии. На одиннадцать языков три дня звучали горячие речи. Понятно, почему горячие, ведь ораторы и сами молоды, и представляют молодежь, а кроме того, тема, собравшая их вместе, очень остра и очень злободневна — это укрепление позиций лагеря социализма, это объединение молодых сил в защиту мира, против попыток американского империализма превратить Европу в плацдарм военных действий, против гонки вооружений и термоядерной войны. Современная обстановка требует сегодня от всей прогрессивной молодежи согласованных и энергичных действий, осознания величайшей ответственности за сохранение материальной и духовной цивилизации, за право человечества жить и работать на мирной земле.

«Ленинский комсомол рассматривает участие в борьбе за мир как важнейшую интернациональную задачу» (Виктор Мишин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ).

«Наши стремления и идеалы могут быть осуществлены только в условиях прочного мира» (Андрей Бунджулов, секретарь ЦК Димитровского коммунистического союза молодежи).

«Мы полностью поддерживаем мирные инициативы, выдвинутые Юрием Владимировичем Андроповым: они проникнуты ответственностью за судьбы мира и людей» (Ле Тхань Дао, секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи Хо Ши Мина).

«У нас нет большего стремления, чем стремление к миру. Но мира недостаточно только желать. Миру нужны и молот, и винтовка, и колос, и песня». (Фолькер Фойгт, секретарь Центрального совета Союза свободной немецкой молодежи).

Мы цитируем стенографические записи первого дня заседаний Международной научно-практической конференции «Роль союзов молодежи в социалистическом и коммунистическом строительстве». Тема сохранения мира и осуждения политического авантюризма американской администрации звучала в каждом выступлении страстно, была главным аккордом. Прошел еще один день, и газеты опубликовали на первых своих полосах Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова. Пафос этого документа определил тон всех выступлений в зале заседаний, где за «круглым столом» участники конференции обсуждали проблему «Идеологическая борьба и молодежь». Мотив личной ответственности каждого честного молодого человека за мир, за правду, за социализм приобрел еще большую звучность, во многом задал характер дискуссии.

Молодежь — наиболее динамичная часть общества, и от того, какие идеалы она защищает, на каких идейно-нравственных позициях стоит, зависит будущее любого государства. Но как закалить волю молодых людей к борьбе, именно к борьбе, поскольку нынешняя ситуация в мире требует точности социального выбора каждым человеком? Всячески пытаюсь хоть как-то поколебать единство рядов коммунистов, враг делает ставку на молодежь. Чтобы противостоять идейным противникам, нужны классовая зрелость, политическая культура, высоко развитые гражданское чувство и чувство истории. В какой мере этими качествами обладают члены союзов молодежи? Как воспитать такие качества? Молодой человек живет не в вакууме, а в сложном и противоречивом мире. Буржуазная пропаганда навязывает ему свои «версии» о жизненном успехе, сулит будущее, в котором главную ценность будет составлять не труд, а развлечения, внушает диктат идолов, среди них в первом ряду стоят идолы кулака, насилия, вещей, суперменства... Делайте, что хотите, но только не лезьте во взрослые проблемы... Но уступка даже в мелочах оборачивается часто моральным падением, беспринципностью, и в конечном итоге — изменой делу социализма.

«Воспитание молодежи не может стоять вне политики», — так сказал в своем докладе первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин. 65-летняя история Ленинского комсомола доказывает, что лучшие его воспитанники высоко несут знамя Ленина, знамя коммунизма. Союзы молодежи строят свою работу, исходя из опыта Ленинского комсомола, высоко ценя вклад советской молодежи в социалистическое и коммунистическое строительство.

— Здесь, на этой земле, родился социализм, — сказал второй секретарь Союза молодых коммунистов Кубы Конрадо Мартинес Корона. — Все мы выросли из марксистской мечты, сформулированной Владимиром Ильичем Лениным. Каждый успех, пусть даже небольшой, достигнутый на пути к тому идеалу, которому он посвятил жизнь, — это дань уважения его памяти.

Опыт работы молодежи социалистических стран впечатляет.

Шефство над главными промышленными объектами и стройками, расцвет научно-технического творчества молодежи, активная помощь в развитии сельскохозяйственного производства — все это говорит о том, что за юношами и девушками закреплены основные экономические и культурные позиции общества, что они ощущают себя полноценными хозяевами страны и таким образом в условиях реального социализма активно проявляют свои социальные и духовные возможности.

Содержательный, результативный труд — главное средство воспитания цельной личности. Союзы молодежи обязаны заботиться о характере и условиях труда, особенно в ту раннюю пору, когда молодой человек еще только вступает в жизнь. Широко распространен в странах социализма опыт наставничества, когда новичок познает основы рабочей, профессиональной жизни рядом с опытным мастером, человеком зрелых убеждений, добрым и справедливым в своих жизненных принципах.

— Для молодежи важно, чтобы в сфере труда она могла проявить свои способности, продвинуться вперед в плане профессионального роста. Предприятия должны создавать условия для стимуляции трудовой деятельности юношей и девушек. Мы стоим на стороне поступков, а не слов, — сказал в докладе на конференции Ене Ковач, секретарь ЦК Венгерского коммунистического союза молодежи.

И это — общая точка зрения. Выступивший на одном из секционных заседаний член бюро ЦК ВЛКСМ, слесарь завода имени Орджоникидзе из города Свердловска Павел Ратников рассказал о том, как растут, мужают люди на ударных комсомольских стройках, какой поистине жизненной школой становится для молодежи участие в строительстве новых городов, важнейших промышленных объектов. С тех пор как первый отряд комсомольцев высадился на площадке будущей Волховской ГЭС в 1919 году, общественный призыв на главные стройки страны приобрел такой содержательный и глубокий опыт, которым по праву гордится Ленинский комсомол. Но комсомол ни на минуту не должен оставлять без внимания каждодневную жизнь и работу комсомольцев на стройках, его обязанность — улучшать жилищные и бытовые условия, заботиться о полнокровной культуре и социальных благах для молодых рабочих.

Отношением к труду, заботой об укреплении оборонной мощи своей Родины, единством и неразрывностью связей с партией, тягой к освоению духовных богатств, созданных веками человеческой мысли и культуры, — вот чем определяют союзы молодежи меру участия современного молодого поколения в усилении позиций социализма. Именно так и рассматривают они смысл своей работы: с этой самой большой политической высоты! В воспитании нет мелочей. Школьник, студент, рабочий, инженер, ученый, военный. Как он живет? О чем мечтает?

— Бой за молодых людей — это бой за будущее, — сказал Иван Липовски, второй секретарь ЦК Социалистического Союза молодежи Чехословакии. И его поддержали все. Острота, в которой происходит сегодня борьба идей, не оставляет места для успокоенности, равнодушия или пассивности. Враждебная пропаганда использует самые ухищренные приемы, чтобы посеять в молодежной среде нигилизм, неверие, антиобщественные настроения. Буржуазная пропаганда знает способы заигрывания с теми молодыми людьми, которые не отличаются стойкостью своих взглядов, прин-

ципов, вкусов. Им предлагается в качестве приманки и порнография, и мода, и наркотики...

Союзы молодежи понимают, что воспитание нравственного человека — тоже идеологическая задача. Справедливость, долг, совесть, человечность — составные морали, а мораль формирует гражданское чувство...

— Идеи социализма стали для молодого поколения нашей страны смыслом всей жизни, — сказал Казимеж Яник, заместитель председателя Всепольского правления союза сельской молодежи. — Но этот смысл нередко искажается и зарубежными радиостанциями, и костелом, и оппозицией, уже достаточно, правда, ослабевшей. Мы понимаем, что в борьбе за молодежь нужны последовательность, терпение и нешаблонные методы воспитания. Мы должны пропагандировать наши достижения во всех сферах жизни, подчеркивая главную мысль: эти достижения оказались возможными благодаря социализму, благодаря братской помощи Советского Союза.

Выступали разные люди, каждый рассказывал о специфике своей работы, о национальных и исторических особенностях общества, которыми обусловлены сложности подхода к воспитанию молодого поколения. Но суть дела оставалась одной: молодежь стран социалистического содружества вооружена самой передовой в мире научной теорией — марксизмом-ленинизмом. Она строит свою жизнь, опираясь на образцы героического служения Родине и социализму выдающихся революционеров-коммунистов. Она сильна своей идейной связью с коммунистическими партиями, и эта связь была, есть и будет той животворной силой, в которую верил Ленин, которую унаследовали его ученики и соратники на всем земном шаре. В неразрывном единстве с марксистскими партиями — сила союзов молодежи. Враги социализма и коммунизма изо всех сил стараются подорвать это единство, но тщетны их старания, потому что это единство проверено в социальных битвах и всем ходом истории: на самых крутых ее поворотах коммунисты и комсомольцы были вместе. Их прочно связывают испытания и победы.

Память. Память истории. Эстафета памяти. Эти слова не сходят с уст ораторов. Молодежи необходимо помнить уроки истории. Она должна знать, что завоевания социализма достались ей в битвах, которые вели их отцы и деды, — это были суровые битвы, где победа часто давалась ценою жизни. Современное поколение, лучшие его представители дорожат этим опытом прошлого. «Мы хотим заставить заговорить немые витрины музеев, заставить заговорить братские могилы» — звучит голос молодой Кубы. В трудные моменты ее судьбы «основатели Родины сошли со своих пьедесталов из холодных мраморов или тусклой бронзы и смешались с простыми людьми, оставаясь такими же простыми, какими они были и какие есть...» Таково воспитующее воздействие примера. И молодежь мечтает о таком примере, потому что молодежи свойственно подражать яркому, героическому, революционному.

Но верно говорили молодые коммунисты, что в работе с молодежью есть и несомненные трудности. Ей не хватает жизненных знаний, у нее нет опыта классово-политической борьбы и перенесенных военных страданий. Иной раз молодым людям кажется, что социализм — это данность, и они могут черпать из его копилки сколько хотят и как можно скорее. Вот почему задача союзов молодежи — корректировать поведение молодых граждан, воспитывать в них чувство долга перед старшим поколением, разумный подход

к потреблению материальных и духовных ценностей, тех, что создали другие и пока без их участия, стремление приумножать общественные богатства, которые станут и их богатством.

Идейное, нравственное, политическое воспитание молодежи жизнь выдвигает на первый план. Опасность социального невежества и моральной глухоты угрожает сегодня миру. Ненавистью ко всему, что создано на земле социализмом и коммунизмом, пронизаны действия американской администрации. Противостоять этому потоку лжи, клеветы, враждебности можно только уверенностью в своей правоте, делом, которому служишь, сознавая себя борцом за лучшие идеалы народа.

Ощущением силы всего лагеря социализма и силы такой державы, как Советский Союз, пронизано Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова. Этот документ единодушно поддержали представители союзов молодежи социалистических стран, найдя в нем достойный и глубоко аргументированный отпор авантюристической политике правительства США и других государств НАТО. Координация действий в борьбе за мир, против угрозы термоядерной войны предстала перед прогрессивной молодежью как самая первая, самая главная задача.

Еще и еще раз мысли всех участников конференции обращаются к сверстникам в странах капитала. Кто ты есть сегодня на земле? С кем ты? Против кого? От моральной нечистоплотности до политического преступления — только шаг. Вспомните, землю облетели чудовищные слова: «Есть вещи поважнее, чем мир...» Это сказал бывший госсекретарь США Хейг. Человечество содрогнулось от этой формулы. Невежество, которое может обернуться гибелью для людей. Не слишком ли дорогая цена?

«В ядерный век нельзя смотреть на мир через щель узких эгоистических интересов. У ответственных государственных деятелей выбор один — делать все для предотвращения ядерной катастрофы. Всякая иная позиция близорука, более того — самоубийственна». Так Ю. В. Андропов сказал об опасности, нависшей над миром по вине американского империализма.

Нет ничего важнее, чем мир, потому что мир дает людям право на жизнь. Так думает советская молодежь. Так думает молодежь всего социалистического содружества.

**Сергей Бондарчук,
Герой Социалистического Труда,
народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии**

КИНОЭПОС РЕВОЛЮЦИИ

В Ленинграде задолго до премьеры второй части киноэпопеи «Красные колокола» — «Я видел рождение нового мира», снятой Сергеем Бондарчуком, билеты были распроданы. Зрители с нетерпением ждали появления на экранах кинотеатров фильма, съемки которого еще недавно они могли наблюдать в городе или даже участвовать в них. А снимался фильм в Ленинграде несколько месяцев. По асфальтированным улицам, покрытым материалом, имитирующим брусчатку, громыхали броневики, грузовики с революционными солдатами и матросами. По улицам спешил старенький трамвайчик — для него выложили специальные рельсы. У здания Смольного стояли орудия, пирамиды винтовок и патрули — красногвардейцы проверяли пропуска. Но центральным событием, привлечшим тысячи зрителей, стала съемка сцены штурма Зимнего дворца отрядами красногвардейцев.

Редакция «Авроры» получила письма с просьбой рассказать о киноэпопее «Красные колокола». Наш корреспондент Виталий Потемкин встретился с Сергеем Федоровичем Бондарчуком в день премьеры картины «Я видел рождение нового мира». Беседа началась с вопросов к режиссеру: Какова история создания киноэпопеи? Как развивался первоначальный замысел фильма? Как он снимался? Кто в нем играет? К какому жанру, по мнению автора, можно отнести картину? Какова экранная жизнь киноэпопеи?

— Задумал снять эту картину я довольно давно — более десяти лет назад, ощущая настоятельную необходимость в создании фильма о Революции — широкого исторического полотна. Меня всегда привлекала личность Джона Рида, замечательного журналиста, писателя. Летописца революции и ее поэта. Документальная книга «Десять дней, которые потрясли мир» интересна не только тем, что это — бесценное свидетельство очевидца, всем сердцем, всем существом своим принявшего Октябрьскую революцию. Она ценна еще и тем, что положила, по сути дела, начало новому литературному

явлению — романтической журналистике, воссоздающей эпическую картину жизни народа. Документальность и публицистичность становятся здесь категориями художественного порядка.

Используя мотивы книг, биографию Джона Рида, Валентин Ежов написал сценарий «День — год — жизнь (Джон Рид)». Кстати, он опубликован журналом «Искусство кино» в 1978 году и каждый, кто пожелает подробно познакомиться с процессом создания нашей киноэпопеи, может прочитать его.

Сценарий этот мы предполагали снять совместно с американскими коллегами, роль Джона Рида предложили Уоррену Битти. Но... Битти признался, что очень мало знает о Риде, чтобы сыграть эту роль. И вообще, мы столкнулись с удивительным и одновременно непонятым для нас явлением: в США, кроме специалистов, мало кто знает о своем великом соотечественнике. И все же Уоррен Битти сыграл роль Джона Рида: в фильме собственной постановки — «Красные». Я видел эту картину. Сделана она в традиционно биографическом жанре. В центре фильма — история любви Джона Рида и писательницы Луизы Брайант, революция же — лишь некий фон этой личной драмы.

Я был знаком со сценарием «День — год — жизнь» и, слушая Сергея Федоровича, мог представить себе, как развивался замысел фильма. В сценарии явственно ощущается стремление художника к активной «связи времен». Действие смело «перебрасывается» из одного исторического времени в другое, из одной страны — в иную.

Пылающая в огне революции Мексика 1913 года и размеренная жизнь американского города Бостона 1910 года... Окопы первой мировой войны, разгоревшейся в Европе, и Нью-Йорк 1974 года, интервью с Уолтером Липпманом, в прошлом — другом Рида... Революционный Петроград 1917 года и одна из африканских стран 1977 года, опухшие от голода дети...

Одним из центральных событий будущего фильма должен был быть монолог Владимира Ильича Ленина: «Прежде всего мы хотели хлеба голодным и мира народам. Да. Мира народам и хлеба голодным». Слова эти, во много раз усиленные, должны были звучать над всей Землей.

Значительное место в будущей картине отводилось кинохронике, кадрам выступлений президентов США — Вильсона, Трумэна, Эйзенхауэра, Кеннеди... Их речи о мире, справедливости, законопорядке — и экспансионистская политика в действии... Зрители могли бы увидеть рабочие демонстрации, студенческие волнения во Франции, вылазки фашистских молодчиков в Италии... Великий Октябрь — те десять дней, которые, по образному выражению Рида, потрясли мир, в сценарии разворачивались в исторической перспективе.

— Я мыслил наш фильм как эпос Революции, — продолжает Сергей Федорович. — Не личные, интимные переживания, но народное, героическое, эпическое — вот что для меня было главным. Замысел этот расширял рамки готового сценария, вставляли новые и новые проблемы, появлялись новые герои, сюжеты, сцены. Вместе с соавторами я изучал историю Октябрьской революции и историю мексиканской революции, творчество и жизненный путь Джона

Рида. Мы накопили массу документальных материалов, свидетельств очевидцев, фотографий, просмотрели тысячи метров кинохроники. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, музеи Владимира Ильича Ленина в Москве и Ленинграде предоставили в наше распоряжение архивы, экспонаты. Вслед за книгами и статьями Рида мы воочию познавали то далекое и прекрасное время. Познавали умом и всем сердцем.

Время, накопленный материал, личные впечатления — все это корректировало первоначальный замысел картины. Но неизменным оставалось одно — я хотел создать фильм-эпопею, в котором народ был бы центральным героем и воспринимался как подлинно движущая сила истории. Вспомним, что массы, народ — основной герой фильмов Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“», «Октябрь». И еще — мне близка пушкинская формула: судьба человеческая — судьба народная. Новый наш замысел потребовал создания двух кинодиалогий эпопеи «Красные колокола» — «Мексика в огне» и «Я видел рождение нового мира». В основу сценариев легли книги Рида «Восставшая Мексика», «Десять дней, которые потрясли мир». Февральская, Великая Октябрьская революции и революционные события в Мексике в моем фильме видятся как бы с двух исторических точек — глазами самого Рида и одновременно с высоты нашего времени.

Джон Рид — герой всех четырех серий эпопеи — не бесстрашный свидетель-репортер, а активный участник революционных событий. Это важное для нашего фильма обстоятельство. За каждой написанной им строкой встает личный опыт, пережитое, осмысленное. Он, один из первых зарубежных литераторов, тогда еще понял всемирно-историческое значение Октября, который стал определяющим судьбу человечества событием. С удивительной прозорливостью Рид оценил первые решения Советского правительства — Декрет о мире, Декрет о земле и другие. Выбор актера на роль Джона Рида, безусловно, имел решающее значение для успеха фильма, и я решил пригласить итальянского артиста Франко Неро, хорошо известного советским зрителям по картинам социального звучания.

Какие же мотивы подтолкнули Франко Неро принять предложение Бондарчука? Об этом он сам говорил в интервью газете «Советская культура». Он рассказал, что его творческая дружба с Сергеем Федоровичем началась в 1968 году, в Югославии, на съемках партизанской киноэпопеи «Битва на Неретве». Тогда он сказал Бондарчуку: «Сейчас мы встретились как актеры, но когда-нибудь ты станешь моим режиссером». Когда же режиссер предложил ему роль Джона Рида, он был «рад чрезвычайно». «Джон Рид, — размышляет Франко Неро, — был журналистом особого типа, который редок был на Западе и тогда, и сейчас. Он не понимал, что значит просто „удивить“ читателя какой бы то ни было новостью, — нет, в своем деле он исходил из идеи значительной, интересной многим и многих волнующей. Такой идеей для него был социализм, в который он искренне верил всю жизнь. И во имя своей великой идеи рисковал жизнью, всегда стараясь находиться в гуще политических и военных событий».

Когда смотришь «Красные колокола», то осознаешь: режиссер и актер проявили подлинное единодушие в понимании образа Джона Рида.

Сергей Федорович продолжает:

— Съемочный коллектив «Красных колоколов» был интернациональным по составу. Вместе со мною сценарий писали Валентин Ежов и мексиканцы Рикардо Гарибая, Карлос Ортис Техеда, итальянец Антонио Сагуэра. Снимал фильм оператор Вадим Усов, а музыку сочиняли мексиканец Хоакин Гутьеррес Эрасу и Георгий Свиридов. Декорации и костюмы создавали советские, мексиканские и итальянские художники. Опыт создания эпопеи киностудиями различных стран — СССР («Мосфильм»), Мексики («Каносите-2»), Италии («Видео Интернейшнл») — себя оправдал.

Участвовать в картине мы пригласили известных актеров многих стран. Мейбл Додж сыграла шведская актриса Урсула Андрес, Луизу Брайант — американка Сидней Ромм. Трудно было подобрать актеров для «мексиканской» части эпопеи. На роль Эмилиано Сапату был выбран популярный мексиканский актер Хорхе Луке, а вот кто будет играть предводителя восставших крестьян — Панчо Вильи, мы долго не знали. И вдруг — находка! Его сыграл не профессиональный актер, а писатель Эраклио Сепеда. Вообще, в эпопее занято много непрофессиональных актеров. Это была кропотливая работа по отбору актеров — на центральные, второстепенные, эпизодические и даже самые крохотные роли — людей из народа, те роли, которым обычно режиссура не уделяет должного внимания, считая, что в толпе, массовке (какое пренебрежительное слово — массовка!) и так сойдет.

Народные сцены — одни из самых сложных в фильме. Ведь участвовало в съемках несколько десятков тысяч человек. Только в сцене штурма Зимнего дворца — десять тысяч! И как хорошо, как эмоционально эти непрофессионалы сыграли эту ответственную сцену. Нет, народные массы на экране достоверно нельзя показать традиционной массовкой! С людьми, занятыми в массовых сценах, нужно провести огромную работу, увлечь их задачей, замыслом фильма. Сейчас, когда эпопея вышла на экран, отчетливо понимаешь, какой это был огромный труд — не только съемочного коллектива, но и всех людей, всех организаций, кто так увлеченно помогал нам.

И, конечно, одним из самых трудных и ответственных моментов съемки эпопеи был выбор актера на роль Владимира Ильича Ленина. Я пригласил артиста Ульяновского драматического театра Анатолия Устюжанинова. В своем театре он уже создал образ вождя, в нашем фильме это дебют актера в кино.

Можно ли «Красные колокола» отнести к жанру политического фильма? Думаю, что каждый фильм, снятый с серьезными намерениями, — политический. Отдельно, вне политики, вне идеологии искусство не существует. Как известно, фильм «Мексика в огне» на международном кинофестивале в Карловых Варах, где он представлял кинематограф Мексики, был удостоен высшего приза — Хрустального глобуса. Премьера этой дилогии успешно прошла в Мексике, на ней присутствовали президент страны, министры. Премьера дилогии «Я видел рождение нового мира» состоялась в центральном кинотеатре столицы — «Россия» и сразу же в Ленинграде, в городе Великого Октября.

«Красные колокола» будут демонстрироваться во многих странах мира — и на экранах кинотеатров, и по телевидению. Для этого сделан телевизионный многосерийный вариант картины.

Киноэпопея начала творческую и общественную жизнь. Ибо каждое крупное произведение искусства имеет две судьбы — художественную и гражданскую. Из всех стран, где была показана эпопея, приходят отклики специалистов, критиков, зрителей. На пресс-конференции после просмотра дилогии «Мексика в огне» генеральный директор Управления радио, телевидения и кино Мексики Маргарита Лопес Портильо сказала: «...Для нас, мексиканцев, для нашей культурной и общественной жизни этот фильм стал явлением подлинно интернациональным. Я считаю, что искусство, как ничто другое, сближает и объединяет народы, — это самый короткий путь к нашим сердцам». Итальянская газета «Нацциони» о «Красных колоколах» писала: «Эта правдивая, волнующая эпопея — одна из лучших картин о революции, в сравнении с которой блекнет фильм „Красные“, сделанный в камерной манере Уорреном Битти. По эпическому размаху русский фильм превосходит типично „оскаровскую“ американскую картину... Режиссер активно использует лирико-эпические традиции великого советского кино».

Фильм помогает зрителю лучше познать Время Революции, личность ее летописца Джона Рида. Интерес к личности Джона Рида в нашей стране велик. Недавно, например, в издательстве «Советская Россия» повторно вышла книга «Легендарный Джон Рид». Сколько же нового, увлекательного и поучительного можно узнать из дневниковых записей, заметок, писем, документов писателя, свидетельств его современников, тщательно отобранных Александром и Саввой Дангуловыми. Когда-то Н. К. Крупская предвещала книге «Десять дней, которые потрясли мир» — этому волнующему документу эпохи — долгую и плодотворную жизнь, считая, что книга будет иметь особенно большое значение для молодежи тех поколений, для которых Октябрьская революция станет историей. Книга Джона Рида издана в нашей стране миллионными тиражами. И вот теперь ее пафос мы ощутили в четырехсерийной киноэпопее «Красные колокола». Десятки миллионов зрителей — и не только нашей страны — увидят на экране движение Революции, воспетой Ридом.

Тихонов прожил долгую, наполненную действием жизнь. Он признался однажды: «Иногда мне кажется, что я жил несколько жизней». Эти жизни оставлены в его книгах. Там его судьба, его путь восхождения к вершине своей тропой, не изведанной до него и открытой им для всех.

Этот путь целен и целенаправлен, как его характер.

В Николае Семеновиче Тихонове было много сил и страсти. В жизни и в поэзии он любил игру.

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Породнившись с этой землей, он породнился с поэзией и научился глину замешивать огнем. Вся русская поэзия от Державина до Блока стала необозримым полем его удивления. Он был беспощаден к самому себе и поэтому стал мастером. Но об этом потом.

Николай Семенович Тихонов родился в Петербурге 3 декабря 1896 года, в семье ремесленника, в доме, который и по сей день стоит на углу улиц Герцена и Дзержинского. Его отец был парикмахером. Тихонов почему-то никогда не говорил и не писал об этом, однажды только он обронил фразу о том, что его «воспитание не отличалось сентиментальностью».

Он учился в городской школе на Почтамтской улице, потом ходил в Торговую школу на Фонтанке. Там он получал официальное образование. А самовоспитание души шло через книги, через Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Баратынского, через Фенимора Купера и Стивенсона. Мальчишкой он читал их запоем. Он грезил Индией и сам сочинял книги о путешествиях и приключениях, о людях чести и подвига — рукописные книги, иллюстрированные его же рисунками.

Это было увлечение, переходящее в страсть, и ветер романтики пел жадной юношеской душе гимны свободы и справедливости.

Он не бегал на подпольные сходки и не распространял подпольной литературы. Но трагедия Кровавого Воскресенья разыгралась на его глазах, около его дома. Он видел человеческую кровь, смерзшуюся на истоптанном снегу 9 января 1905 года. И хотя ему шел всего девятый год, он уже мысленно был готов идти за тех, в кого стреляли. Это чувство росло и прояснялось в его душе, сочувствие искало выхода в действии. Девятнадцатилетним юношей он написал на белом листе четким и прямым почерком стихотворение, которое озаглавил пророческим словом «Революция».

Под музыку шарманки,
Под пляску косарей,
Улыбку маркитанки
И пурпур царей,
Под свист толпы народной,
Где стон и пулемет,
Дорогою свободной
Вперед она идет.

...Ее я знаю имя,
Молчат теперь о ней
И колоннады в Риме,

И сфинксы, и Пирей.
Ей люб огонь заката
И красный, алый цвет...
Я ждал ее когда-то,
И жду... Сомнений нет!

Стихотворение написано в 1915 году, за два года до победы Октябрьской революции. Всей верностью своей окрыленной поэзией души юный поэт верил в ее приход. Это было его, тихоновское, пророчество, его выбор пути, вера в грядущее России и верность ей, это была его клятва и его предчувствие.

Тихонов любил свой город на Неве крепкой и надежной любовью — любовью поэта. Он знал город наизусть — это была для него самая лучшая книга: «Пускай не каждый житель твой — поэт, но каждый камень твой — поэма!»

Ради судьбы этого великого города, ради его будущего поэт очень рано научился разбираться в том, «куда идти, в каком сражаться стане». Товарищество гусарского полка, прекрасная выучка солдата пригодились потом защитнику Революции Тихонову.

Поэзия для него была воплощением человеческой справедливости. Революция тоже была воплощением справедливости народа. Значит, между поэзией и революцией — знак равенства. Тихонов сам этот знак равенства поставил. Раз и навсегда, со всем пылом души, всей силой мысли и таланта, всем опытом и лихостью гусарской смелости.

Не плачьте о мертвой России —
Живая Россия встает, —
Ее не увидят слепые,
И жалкий ее не поймет.

Мы радости снова добудем,
Как пчелы — меды по весне,
Поверим и солнцу, и людям,
И песням, рожденным в огне.

Дерзостью молодости, всем ее отчаянием и прозрением он понимал масштабность революции, ощущал вкус ее чистейшего воздуха. Две свои первые книги — «Жизнь под звездами» и «Перекресток утолий» он положил на дно сундука, считая их несовершенными, уже отставшими от бешеного аллюра революции.

Время захлестывало его мертвыми петлями железной необходимости участия его, тихоновского, слова в нарастающем вихре событий.

Молодости все под силу. Ее дерзание крылато. Слова Баратынского «...Когда возникнул мир цветущий из равновесья диких сил...» запели в душе Николая Тихонова как собственные, связав в его представлении времена и судьбы в единый поток действия.

Тихонов не называл себя поэтом революции. Он им был по своей сущности. У него не было ничего, кроме грядущего. Он не накопил никаких богатств. Единственное свое имущество — кавалерийское седло он продал какому-то спекулянту и на вырученные деньги напечатал первую свою книгу «Орда». Первый экземпляр книги, который поэт держал в руках, щекотал душу запахом типографской краски.

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз приносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

По книге «Орда» можно было понять, что у победившей революции есть свой, такой же молодой и дерзкий, как она сама, поэт, мастер своего дела, которого революция научила «словам прекрасным, горьким и жестоким», есть поэт, который принял как эстафету сказанное уходящим в вечность Александром Блоком: «...И вечный бой! Покой нам только снится».

После «Орды» и «Браги» поэт Николай Тихонов сразу стал явлением поэзии. Он пришел в литературу зрелым мастером, умеющим слушать время, понимать его и свое в нем назначение.

Есть люди, к которым просвещенность человечества льнет и лепится сама. Она как бы подкладывает на их пути великих мудрецов и поэтов, открытия философов и историков, сводит их с мыслителями и книголюбцами, с путешественниками и пророками, с людьми мечты, поклонниками вечного беспокойства. Николай Тихонов был таким — и в молодости (судя по его книгам), и в зрелости (по моим личным наблюдениям), и в старости, которая совсем не вяжется с ним, хотя он ушел из этого мира восьмидесяти трех лет. Николай Семенович всегда обладал жаждой познания, путешествий, встреч, радостно стремился к дружескому застолью, к дороге. Он готов был взять в спутники все человечество.

Самый тяжкий груз — груз познания — он нес по жизни легко и щедро, по-рыцарски. Он обладал редкой распахнутостью души и умел тратить ее запасы не жалея, потому что знал свойство души расти и совершенствоваться от этой траты. Он пел о себе и о своих сверстниках вдохновенно и романтично, возвышенно и убежденно.

Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой темной путников в ночи
Земля поила благодарно.

И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Как в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство.

Тихонов был не только поэтом революции, но и строителем новой советской литературы. К этому нелегкому, ответственному делу он оказался внутренне подготовленным.

То было время, когда Александр Блок проводил прощальным

взглядом своих двенадцать апостолов под красным флагом в колючую метель живой истории. Время, когда Владимир Маяковский, прощаясь с Блоком у красногвардейского костра, сверяя свои шаги с тактом «Левого марша», шел в промерзшую мастерскую дорисовывать очередное «окно РОСТА». То было время, когда юный Есенин вместе с Николаем Клюевым плакали слезами восторга и умиления над пришествием мужицкого рая в Россию. Время, когда на «короле поэтов» Игоре Северяnine уже начинала качаться под пронзительным ветром «королевская» корона. И Анна Ахматова, кутая шалью от пронизывающего холода времени острые плечи, трагическим шепотом твердила своей душе:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Это было время, когда в Кутаиси — за тысячу верст от Петрограда — поэт с огромными, как две полярные ночи, глазами и с древним, как вселенная, таким же, как она, загадочным именем Тициан Табидзе выводил древней вязью свое пророчество:

Но ответ столетий несомненен,
И исход сраженья предрешен.
Ночь запомнит только имя «Ленин»
И забудет прочее, как сон.

И это было написано им в ночь на 25 октября 1917 года.

Потом время сведет и Николая Тихонова, и Тициана Табидзе, и переводчика этих стихов Бориса Пастернака у одного костра братства поэзии и снова разбросает их судьбы в разные стороны.

В 1920 году Николай Тихонов написал поэму «Сами», — первую в мире поэму о Владимире Ильиче Ленине, — об индийском мальчике Сами, трогательную историю о мужании и росте юношеской души, которая освободилась от рабской покорности. Эта поэма была одним из первых признаний русской поэзии Ленину. Признанием сердечным. Интернационалистским по духу.

В январе 1924 года состоялось первое мое знакомство с поэтом Николаем Тихоновым, знакомство заочное, но очень памятное. В тот день занятий не было. Наш учитель Александр Николаевич Куракин собрал всех учеников в один класс. Он сказал нам, что умер Ленин. И стало очень тихо. Даже часы сами по себе остановились. Александр Николаевич подошел к ним, подтянул гири, а потом пальцем осторожно пустил маятник. И он затикал. Жизнь вырвалась из темного омута тишины. Учитель повернулся к нам лицом, подошел к столу, взглянул на нас прекрасными глазами,

полными тревоги и смятения, и начал читать стихи. Стихи о мальчике со странным именем Сами, который, зная только имя Ленин, перестал бояться злого хозяина. Мы все в школе любили, когда Александр Николаевич читал стихи. На этот раз он читал очень тихо, так что было слышно тиканье маятника уже снова идущего времени. Это тиканье как бы подчеркивало каждое слово поэмы. Слово за словом нанизывалось на что-то острое в нашем сознании, с тем чтобы остаться там на всю жизнь.

Учитель знал, что у меня хорошая память. Наверное, поэтому он отдал мне маленькую книжицу с портретом Ленина на белой обложке и сказал, чтобы я выучил к завтрашнему дню стихи, напечатанные в этой книжке.

Назавтра в школе собрались наши отцы и матери. И мне пришлось перед ними читать заученные стихи. Как и учитель вчера, я тоже читал тихо, глядя в их лица. Родители стояли, опустив глаза. Я чувствовал их дыхание, как бы согласованное с ритмом произносимых мною слов, подчеркнутое колебанием морозного запаха еловой хвои, которой был убран портрет Владимира Ильича на стене за моими плечами.

Так далеко был этот Ленин,
А услышал тотчас же Сами.
И мальчик стоял на коленях
С мокрыми большими глазами.

А вскочил легко и проворно,
Точно маслом намазали бедра,
Вечер пролил на стан его черный
Благовоний полные ведра.

Будто снова он родился в Амритсаре,
И на этот раз человеком, —
Никогда его больше не ударит
Злой Сагиб своим жестким стеклом.

Я читал это вслух, и душа моя обретала свободу вольной птицы, прекрасное чувство какой-то удивительно реальной возможности не дать себя обидеть ни при каких обстоятельствах. Я еще не знал, как оно называется по имени — великое чувство человеческого достоинства и гордости за то, что ты человек. Но я впервые испытал это чувство благодаря Николаю Тихонову.

Вот так поэт Николай Тихонов стал моим поэтом, вместе с Некрасовым и Пушкиным, Жуковским и Никитиным, вместе с Тютчевым и Лермонтовым...

Увлечение поэзией кончилось тем, что я сам стал писать стихи.

А за Тихоновым я стал следить особо.

В библиотеке Ивановской школы ФЗУ, куда я поступил учиться в 1931 году, было довольно много поэтических книг, я перечитал их все, а столкнувшись с книгами Николая Тихонова, половину его баллад запомнил наизусть вместе со стихами Маяковского и Есенина.

В ФЗУ у меня появился друг Григорий Рябинин. Он был похож лицом и ростом на Маяковского, стригся наголо под машинку, хмурил лоб и немного выпячивал нижнюю губу. Он писал стихи и печатал их в газетах. Вскоре я пересел за его парту и стал вместе с ним выпускать общешкольную стенную газету «За кадры».

В те времена мы успевали все. И учиться. И работать на фабрике. И выпускать стенную газету. И писать стихи. И читать все, что печаталось в журналах и выходило отдельными изданиями.

Сколько мы знали тогда стихов наизусть — Тихонова и Пастернака, Сельвинского и Багрицкого, Луговского и Антокольского, Светлова и Ушакова, Корнилова, Асеева, Прокофьева и только входившего в строй, почти что нашего ровесника Ярослава Смелякова.

Николай Тихонов был одним из зачинателей, одним из первых преемников и новаторов великой советской поэзии, ее могучей реки, хлещущей издалека через пороги времени — в грядущее.

Я любил Николая Тихонова. Любил в книгах и в жизни. Люблю его и в воспоминаниях. Иногда я беру с полки его книгу и перечитываю слова, обращенные ко мне, выведенные его отчетливым, прямым и решительно-красивым, как и его жизнь, почерком: «Молодому дьяволу Мише Дудину от старого дьявола, живущего на покое, с любовью Николай Тихонов. 1946 4 IV. Москва». Я перечитываю эти слова и снова испытываю благодарность судьбе, которая сочла нужным и обязательным свести меня с этим человеком.

Я никогда не говорил ему о том, что люблю его. Он тоже никогда не признавался мне в этом чувстве. Но я счастлив был его присутствием в этом мире и в моей жизни — его присутствие наполняло мою жизнь смыслом. И еще я и мои сверстники благодарны ему за то, что он своим примером учил нас слушать и понимать. Время и работать при любых условиях с полной нагрузкой.

Николай Тихонов. Он не был никогда ни молодым, ни старым. С первой и до последней книги — с «Орды» до «Песен каждого дня» — он был Поэтом, вдохновенным мастером, а мастерство, как известно издревле, не имеет возраста (впрочем, оно, как видно, чем старше, тем прекраснее).

Вот сейчас передо мной лежат его книги. Стихи. Поэмы. Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. Воспоминания. Сценарии. Заметки. Переводы...

Он работал с наслаждением. Без усталости. И только за два-три года до смерти, после первого инфаркта, он сказал мне, как бы извиняясь за то, что болел, сказал, прижимая правую руку к сердцу: «Я его загнал, как лошадь».

Он произнес эту фразу за столом на даче в Переделкине. Сказал и пошел по лестнице на второй этаж, к себе в кабинет, за рабочий стол, пошел легкой походкой бывалого альпиниста.

Он умел ценить время и наполнять его смыслом.

Он был строг к себе и доброжелателен к друзьям. В его доме всегда были гости.

Памятуя о том, что поэзия ищет в мире родства, он первым в советской литературе начал грандиозную работу по организации общения поэзии в ленинском братстве народов Советского Союза.

Он пешком облазил весь Кавказ. Знал все его вершины, все хребты и ущелья, буйные реки и орлиные озера. Он был вынослив, как тур, и любил повторять слова Лермонтова: «Горы для меня священны».

В каждой новой книге он удивлял своего читателя и новизной самого мира, показанного в ней, и гибкостью, точностью подвластного ему слова.

Как в плески, полные прохлады,
Я погружался в речь твою,

Грузино-русские обряды
В примерном встретились бою.

Тихонов первым проложил дорогу русской поэзии на Кавказ и в Среднюю Азию, одним из первых стал обогащать русскую поэзию переводами стихов поэтов Кавказа и Средней Азии. Он был другом Востока. Интернационализм был у него в крови. Своими путешествиями он умел раздвигать границы великой русской поэзии. Только в 1935 году, сразу же после Первого съезда советских писателей, он выпустил две книги — «Стихи о Кахетии» и «Тень друга».

Поэзия Тихонова всегда была тревожной, обеспокоенной завтрашним днем. «Тень друга» была книгой-предупреждением.

В 1935 году в Париже проходил конгресс в защиту культуры. Николай Тихонов был делегатом этого конгресса. Кроме Франции, ему удалось побывать в Польше и Чехословакии, Бельгии и Англии. В книге «Тень друга» возникли для меня тогда и остались до сих пор два образа, два символа, две ипостаси Времени.

Я увидел, как призрак,
Работы предел:
Море рваное,
Мокрые латы.
Неслышимый ветер гудел
Над летящей
Победой крылатой.

Тихонов увидел и нарисовал символ унижения, знак надвигающейся катастрофы — второй мировой войны:

Противогаз!
Твоей резиной липкой
Обтянута Европы голова.
И больше нет ни смеха, ни улыбки,
Лес не шумит и не шуршит трава.
Лишь рыбий глаз томится, озирая
Стальную муть дневных глубин, —
Какой актер увлек тебя, играя,
Какой тебя любовник погубил?
Ты даже не услышишь сквозь резину,
Когда, поднявши грохота пласты,
Такая гибель пасть свою разинет,
Что все сожрет, чем так гордилась ты!

Такими страстями жила эта предупреждающая человечество книга. Каждым своим нервом она кричала о надвигающейся беде, кричит и сегодня в каменные уши мироздания, заросшие мхом обывательской беспечности. Книга предупреждает о более страшных катастрофах, которые готовит для Европы и для всего мира тот же самый фашизм, который сорок с лишним лет назад залил Европу кровью.

Сорок лет назад Европа, к сожалению, не услышала этого предупреждения.

Следом за «Тенью друга» были написаны циклы «Чудесная тревога», «Горы» и «Осенние прогулки». Эти циклы лирических стихотворений — о любви и нежности, о рыцарской верности челове-

ческого сердца, о старости и доверительности — тоже полны предупредительной тревоги. Поэт как бы стоит на вечной страже прекрасной беззащитности и нежной зыбкости этого мира.

Все спит в оцепенении одном,
И даже вы — меняя сон за сном.
А я зато в каком-то чудном гуле
У темных снов стою на карауле
И слушаю: какая в мире тишь.
...Вторую ночь уже горит Париж!

Такая уж у истинной поэзии обязанность — хоть на полшага идти впереди времени, видеть раньше других, предугадывать и предупреждать события, помогать людям встречать их во всеоружии мужества и беспощадной правды.

Я хочу, чтоб в это лето,
В лето, полное угроз,
Синь военного берета
Не коснулась ваших кос.

Чтоб зеленой куртки пламя
Не одело б ваших плеч,
Чтобы друг ваш перед вами
Не посмел бы мертвым лечь.

Эти стихи Тихонов написал за год до начала второй мировой войны.

В то время, после финской войны, я служил в гарнизоне полуострова Гангут. Я был рядовым во взводе разведки полковой батареи на конной тяге. Мы строили укрепления, чистили коней, занимались строевой, боевой и политической подготовкой, несли караульную службу. Сам не знаю, как при этой нагрузке я умудрился написать целую тетрадь стихотворений о первой своей войне, которую теперь историки называют «зимней кампанией 1939/40 г.»

В отпуск на месяц я поехал в свой родной город Иваново. А на обратном пути в Ленинграде зашел в редакцию журнала «Звезда» и оставил там свою тетрадку.

Через неделю я получил письмо от Николая Тихонова.

Это была моя вторая встреча с ним. В первую встречу я узнал о нем. Во вторую он обо мне узнал и сообщил, что редакция намерена печатать мои стихи, а меня он просил для личного знакомства зайти в редакцию или к нему домой на Зверинскую, 2.

Стихи мои, почти вся тетрадь, были напечатаны в двух номерах «Звезды», и это изменило мою судьбу. На страницах этого же журнала я встретился со своими сверстниками Недогоновым и Наровчатовым, Максимовым и Лукониным, так же, как и я, проползшими на животе по мерзлому вереску Карельского перешейка от реки Сестры до Выборга, от той самой Сестры, о которой двадцать лет тому назад наш Николай Тихонов сказал коротко и вразумительно:

Река Сестра, а берега не братья.

И в этом нам пришлось убедиться в ту холодную и громкую, как колокол, зиму.

За смутным кровавым горизонтом клочкотало что-то непредставимое, и сама война говорила мне словами Тихонова:

Но помните, позвавшие меня,
Я не простой бегущий столб огня,
Покорный вашей кровожадной воле,
Сжигающий одно чужое поле, —
Нет, заповеди черные войны
Для всех сторон смертельны и равны.

Война пришла и навалилась всей тяжестью железа и огня на плечи молодости моих сверстников.

Я познакомился с Николаем Тихоновым в поселке Токсово под Ленинградом, где стояла тогда редакция и походная типография газеты «Защитник Родины» (я был зачислен в штат редакции на должность писателя). Тихонов приехал с Фадеевым. Оба еще молодые, худые, обветренные и белоголовые, как будто оба поселились по заказу. Мы с Тихоновым узнали друг друга без посторонней помощи, сразу, и, к удивлению, Тихонов представил меня Фадееву как своего старого знакомого. Это была моя третья встреча с Николаем Тихоновым, которая, к радости, позволила подумать, а потом и убедиться в том, что я ему небезразличен.

Вскоре меня перевели в редакцию газеты «На страже Родины» в Ленинград, и дорога с Невского, 2, где была расположена редакция, до Зверинской, 2, где жил Николай Семенович Тихонов, стала мне очень знакомой. Шестиэтажный дом, в котором жил Тихонов, мало изменился за эти сорок лет, только слева от двери подъезда на стене прикреплен кусок серого гранита, на котором написано:

Здесь
с 1922 по 1944 год
жил и работал
Герой Социалистического
Труда
писатель
и общественный деятель
Николай
Семенович
Тихонов

С грустью перечитываю я эти слова. Душа все не может примириться с тем, что Николая Семеновича нет. Мне все кажется, что он уехал в командировку и должен со дня на день вернуться, позвонить или написать мне.

А тогда, сорок два года тому назад, я шел впервые в этот дом по холодному, слепому городу. Ленинград был пуст и темен, и на Кировском мосту мне навстречу не попалось ни одного прохожего.

Тихонов жил на шестом этаже в многокомнатной квартире генерала Неслуховского. Того самого Неслуховского, который помогал Владимиру Ильичу Ленину после поражения революции 1905 года скрываться. Три дочери генерала Неслуховского, следуя примеру отца, сочувствовали и помогали большевикам в октябрьские дни 1917 года. Николай Семенович переехал сюда в 1922 году, женившись на средней дочери генерала, и не менял

эту крышу до отъезда в Москву в 1944 году. По этой лестнице на шестой этаж в свое время поднимались и Есенин, и Маяковский, и многие запевалы разноязыкого братства зачинателей и строителей советской литературы.

Меня встретила, открыв дверь на лестницу, Мария Константиновна, жена Тихонова, в ее руках был какой-то светильник. Значит, электричество не горело. Я сразу ее узнал, вернее, не узнал, а догадался, кто эта высокая женщина с продолговатым лицом и волнистой прядью русых волос, косым угольником прикрывающих половину чистого лба. Она меня тоже узнала и улыбнулась, как старому знакомому, и повела по длинному коридору на кухню. Об этом тоже было не трудно догадаться, потому что в большинстве домов во время блокады жизнь теплилась (в буквальном смысле этого слова) на кухнях. Там стоял стол, и за столом сидел сам хозяин Николай Семенович, все три сестры Неслуховские, дочка младшей сестры Ольга, вместе с матерью работающая в детском приемнике, поэт Борис Лихарев и художник Валентин Курдов, только что вернувшиеся из партизанского края. Мне, как и всем, налили чаю. Потом явился молодой лейтенант с острыми глазами на загорелом лице и редкими щеголеватыми усиками над чуть припухшей губой.

«Георгий Суворов, поэт гвардии», — представил лейтенанта Тихонов, и беседа продолжилась. Мы с Георгием Суворовым сразу поняли, что перед нашим приходом речь шла о памяти. О том, что без памяти жить катастрофично. Что без прошлого нет и не может быть будущего. Как бы заключая этот разговор, Николай Семенович сказал, что надо обязательно оставить в сохранности весь двухсоткилометровый рубеж железного кольца блокады, на котором были остановлены фашисты. Оставить и превратить в памятник. А то, что фашисты будут разбиты, в этом не могло быть сомнения...

Начали читать стихи. Первым читал Борис Лихарев. Читал страшное по своей убежденности стихотворение с повторяющейся как заклятие строкой «Ты будешь выть, Германия!». В голосе Лихарева была такая сила и убежденность, словно с войной уже было покончено и победа в самом деле не за горами.

Потом стихи читал Георгий Суворов.

Очередь дошла до Николая Семеновича. Он читал весь цикл «Чудесная тревога», начиная с «Кувшина» и кончая стихотворением «Пусть серый шлак перегорит в мученьях...». Читал он прекрасно, жестом руки подчеркивал ритм и знаменитые тихоновские инверсии — некий признак демократизации стиха. Читал легко и убедительно. А когда закончил, Мария Константиновна сказала: «Ну вот, ты же позабыл прочесть самое главное», и тут же начала читать сама:

Стих может заболеть
И ржавчиной покрыться,
Иль потускнеть, как медь
Времен Аустерлица...

Николай Семенович был летописцем подвига защитников Ленинграда. Вдохновителем этого подвига. Он не умел жалеть себя и использовал в своей работе все формы, которые ему давал его богатейший литературный опыт и которым он умел пользоваться в совершенстве, как это и положено мастеру.

Мы за глаза называли его Могучим. Кажется, так окрестил его первым в блокадные дни его друг Александр Прокофьев. И, по моему, очень точно.

...Наш век пройдет. Откроются архивы,
И все, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.

Это он написал о Времени. Он отдал своему времени всего себя без остатка. Весь свой гений. Всю свою страсть. Всю жизнь — до последнего вздрoga.

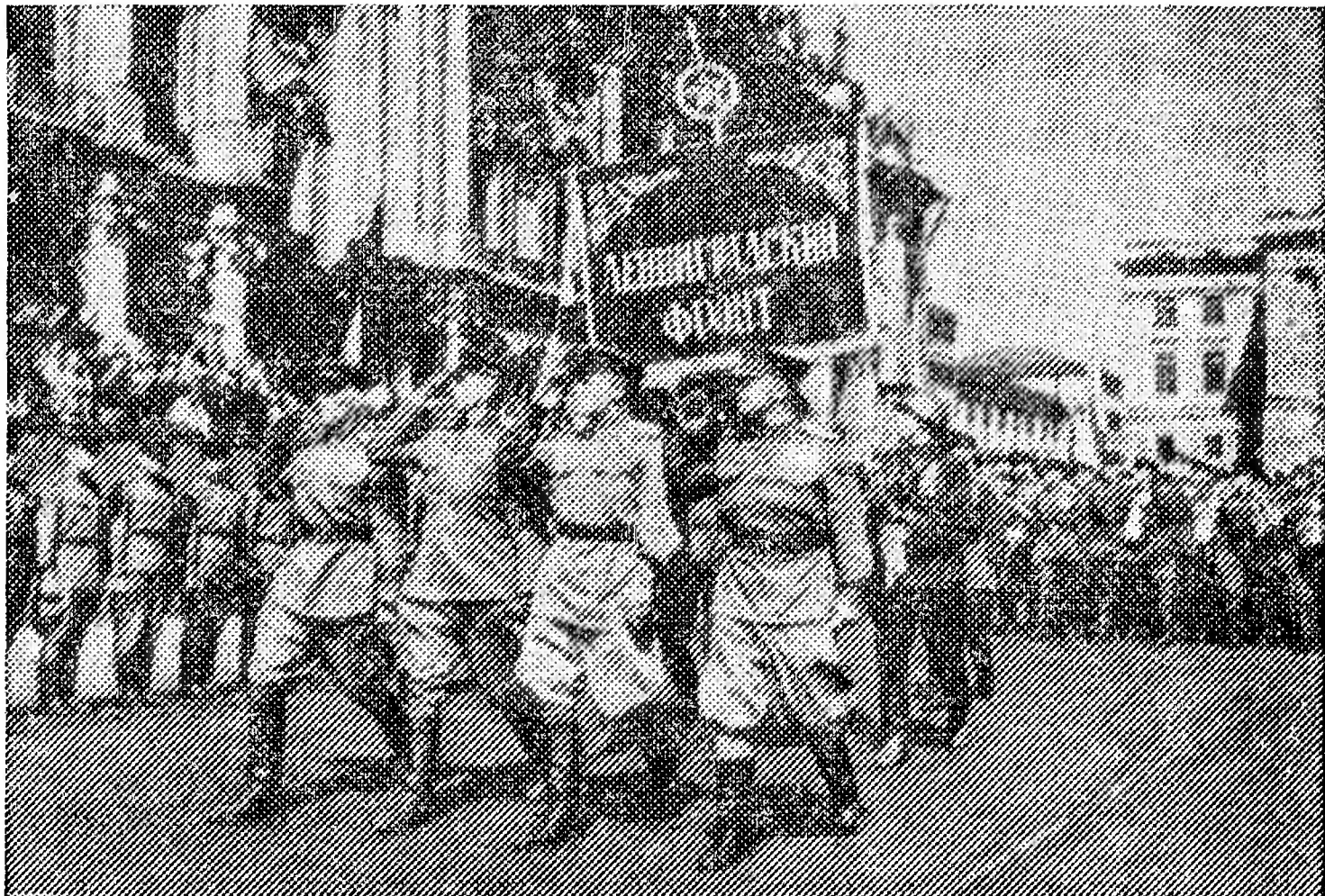
Он любил жизнь, ее бесконечную мозаику. Он был альпинистом, имел счастье видеть восход солнца первым. Он любил, когда его любили.

Он ушел из этого мира жизни 8 февраля 1979 года.

И хотя я, прощаясь с ним, бросил на его гроб горсть смерзшейся земли, я не верю, что он ушел навсегда.

...И на часах двенадцать, и не страшно,
И ветер счастья холодит виски!

Так кончается одно из его последних стихотворений. С такими словами не умирают, а уходят и остаются в живых.



ЭТА ПЕСНЯ И О НЕМ

«Скоро мы пойдем в бой. Мы должны вырвать Ленинград из окружения...»

(Из письма Бориса Антонова)

«ИЗВЕЩЕНИЕ № 371

Антонову Борису Борисовичу. Постановлением Приемной комиссии 2-го Московского государственного медицинского института вы допущены к прохождению приемных испытаний. 28 июля 1941 года».

Выпускник московской школы № 340 Борис Антонов этого извещения не получил. В это время он держал другое испытание — на мужество и патриотизм. Под бомбами фашистских самолетов вчерашний школьник строил у Смоленска оборонительные сооружения.

В 10-м классе он получил характеристику: «Член ВЛКСМ, хороший общественник, серьезно относится к любому поручению и активно его выполняет. Имеет хорошую успеваемость. Политически

развит. По своим качествам будет ценным бойцом Красной Армии...» Классный руководитель, писавший эти строчки, не ошибся.

Вернувшись из-под Смоленска, Борис пошел в райвоенкомат. Отказывали: «Не годен по причине плохого зрения». Семья была эвакуирована. Там, в эвакуации, пошел снова в военкомат, местный:

— Прошу призвать в армию.

— У вас плохое зрение.

— Фашиста разгляжу.

Шел трудный 1942 год, и Борис Антонов надел наконец солдатскую шинель, стал защитником Ленинграда. Каким он был, мы теперь можем судить по его письмам с фронта. Вот они, потрепанные годами, со стершимся карандашным текстом, письма 1942 года.

Без даты

«Здравствуйте, папа и мама, Виталий и Коля!

Я знаю, что я защищаю. Я ненавижу немецких захватчиков, они испортили мне жизнь. И я должен им отомстить. Я должен обеспечить жизнь своим братьям и спокойную старость вам. Я комсомолец, я русский человек, воспитанник Советского Союза и предан Родине. Не думайте, что мне здесь при моем зрении очень трудно. Конечно, трудности есть, я не дома, но они преодолимы».

Без даты

«По пути в Ленинград мы проезжали по освобожденным районам. Видел Тихвин, Волховстрой, сожженные деревни, разбитые дома, уцелевшие печные трубы и обгорелые стены... Становится грустно, и ненависть переполняет сердце.

Сутки жил в Ленинграде. Вот это город! Он пережил такое, пример чему трудно подыскать в истории... Задача нашей армии — прорвать блокаду. Скоро придет время, когда мощный удар наших войск опрокинет врагов, и наша земля заживет прежней хорошей жизнью...»

16 июня 1942 года

«Здравствуйте, дорогие родные!

Я пишу уже с фронта. Я в действующей армии. Скоро мы пойдем в бой. Мы должны вырвать Ленинград из окружения, в котором он находится. Первый день на фронте. Ухают орудия, трещат, будто просверливают глухую канонаду, пулеметные очереди. Нам, новичкам, с непривычки не по себе. При каждом взрыве мы вздрагиваем и оглядываемся. Но старые красноармейцы спокойны, они даже не обращают внимания на эти взрывы. Меня назначили в противотанковую роту, теперь я истребитель танков. Виталий (младший брат Бориса, — Г. Б.), ты бы меня теперь не узнал. Я в пилотке, с противогазом, винтовкой, гранатами и подсумком, полным патронами, я фронтовик. Скоро начнутся решающие бои. Может быть, я погибну. Не горюйте много, утешайте себя мыслью, что я погиб в почетном деле освобождения нашей земли. А Виталий пусть сделает то, что мне не дал сделать проклятый Гитлер. Пусть брат поступит в институт и будет доктором (Виталий стал доктором, он — доцент Военно-медицинской академии, — Г. Б.). Но не будем забивать голову мрачными мыслями. Давайте надеяться, что все будет хорошо. Кончится война, и мы снова все будем вместе. А сейчас пока нужно драться за счастливое будущее. И пусть даже наши потери будут большими, они окупятся результатом. И я горд, что принимаю непосредственное участие в этом

сливном деле. В будущей жизни Виталия и Колю не будут тревожить мысли, что им счастье досталось даром. Их счастье завоевал также и их брат».

28 июня 1942 года

«У нас здесь прекрасные белые ночи. Шумно от оружейного гула, а когда канонада смолкает, поют птички. Прямо странно слышать. Поле, трава, заливаются жаворонки, и вдруг в воздухе ттт...бумм, бумм! Взлетает вверх земля, поле застилается дымом, и начинается».

20 июля 1942 года

«10 июля у нас был праздник — годовщина нашей дивизии. В этот день мне присвоили звание заместителя политрука (четыре треугольника).

Мы называемся бронбойщиками. Задача наша — истреблять фашистские танки... Хочу все мои силы и возможности употребить на разгром врага. Не надо обо мне тревожиться. Я вернусь, когда придет победа, будем жить снова вместе. Ваш сын — бронбойщик Борис».

1 августа 1942 года

«Мама! Ты спрашиваешь, когда мы пойдём в наступление. Все зависит от приказа, а ждем мы его с часу на час, всегда в готовности. Как только доберусь до фашистов, дам им жизни своими гранатами... За все отплачу сволочам, за все. Крепко вас целую. Борис».

7 августа 1942 года

«2 августа мы отбили у фашистов деревню. Это было у Московского шоссе. Рано утром мы выползли из своей траншеи. Когда враги обнаружили нас, поднялась отчаянная минометная и артиллерийская стрельба. Головы нельзя было поднять от земли. Мы рывком доскочили до противотанкового рва. Наш расчет и пулеметчики оказались впереди всего батальона. А потом вместе со стрелками и соседним батальоном атаковали деревню...

Пишу через день. Вчера немцы не дали дописать письмо, перешли в контратаку. За прошлый бой меня и командира расчета ПТР представили к награде. Здоров и цел. Пока получил только легкие царапины, хотя побывал в непрерывных двухнедельных боях и участвовал в наступлении. Сейчас на отдыхе, ждем приказа выступать снова».

13 сентября 1942 года

«Состав нашего взвода разнообразнейший. Из старых остался я один, остальные — пополнение. Половина — ленинградцы, есть украинцы и сибиряки. Я достал у комиссара гармонь, и теперь у нас в землянке вечерами музыка».

28 сентября 1942 года

«Были сильные бои. Выбыли из строя командиры, ранило политрука. Меня вызвали в штаб и предложили стать помкомвзвода и политруком по совместительству. 21 сентября я принят кандидатом в члены партии. Рекомендую меня в партию, комиссар батальона сказал обо мне так: „Товарищ Антонов показал себя мужественным и стойким бойцом. Когда фашисты нас контратаковали и

вышли вперед их броневики, Антонов организовал огонь, сжег один броневик и заставил отойти другой, контратака была сорвана". Так что теперь я коммунист в 19 лет. Виталий просит изменить почерк и писать разборчивей, так это невозможно. Письменных столов здесь нет, пишу лежа на животе. Как ты, Виталий, живешь? Как учишься, читаешь ли книги? Учись хорошо и гордись, что твой брат — солдат, защищает тебя и твое будущее».

8 ноября 1942 года

«Прошел праздник. Я участвовал в параде. Нас окружал лес, и где-то чуть в стороне несмолкаемо били орудия. На митинге мне объявили благодарность...»

«ИЗВЕЩЕНИЕ

13 января при прорыве блокады Ленинграда верный воинскому долгу пал в бою смертью храбрых старшина Антонов Борис Борисович. Мы, воины 3-го батальона 942-го стрелкового полка, его товарищи, клянемся отомстить за смерть вашего сына, нашего друга, настоящего советского парня, успевшего сжечь семь фашистских бронированных машин...»

«...И живу я на земле доброй за себя и за того парня».

Когда в очередной раз вашего сердца коснутся эти слова, вспомните Бориса Антонова, московского школьника, ставшего истребителем танков на ленинградской земле. Ведь эта песня и о нем...

Письма брата хранит Виталий Борисович Антонов, полковник медицинской службы, тот самый, что просил старшего брата писать разборчивее.

**Публикацию подготовил
Г. Браиловский**

А весна между тем крепчает,
и хрипнут походные рации,
И, по фронтовым дорогам
денно и ночью пыля,
Я требую у противника
безоговорочной
капитуляции,
Чтобы его знамена
бросить к ногам Кремля.
Но, засыпая в полночь,
я вдруг вспоминаю что-то.
Смежив тяжелые веки,
вижу, как наяву:
Я сплю,
положив под голову
Синявинские болота,
А ноги мои упираются
в Ладогу и в Неву.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Наш корреспондент попросил Александра Петровича Межирова рассказать об истории написания этого стихотворения, прокомментировать его из сегодняшнего дня.

— Если быть точным и кратким, — сказал Александр Петрович, — то это стихотворение было написано как подражание Михаилу Луконину, как бывает подражание восточной поэзии, персидской, например.

Луконин обладал каким-то звуком, который чем-то меня пленял.

Я был очень удивлен, когда это стихотворение, написанное через десять лет после окончания войны, получило резонанс. Его стали читать на вечерах, писать о нем в статьях, отмечая поэтический и социальный пафос стихотворения. Когда я писал его, мне просто хотелось разрушить гекзаметр. За счет движения внутри стиха добиться свободного ритмического дыхания — по возможности подлинного.

Блок говорил: поэт — носитель ритма. Если с этим согласиться, то, видимо, не стиль — это человек, а ритм — это человек. А если это положение справедливо, то в самом ритме заложено и мировоззрение, и мирозерцание, и гипотеза мира своя, и гипотеза Ленинграда и Ленинградского фронта, раз мы говорим об этом стихотворении.

Видимо, я так был полон впечатлений о войне, что они стали сильнее любого конкретного замысла. Если в данном случае замысел был дамбой, то впечатления от ленинградской эпопеи перехлестнулись через эту дамбу.

Да и могло ли быть иначе?! В сорок первом году, через несколько недель после выпускного вечера, я ушел на фронт. Воевал солдатом и заместителем командира стрелковой роты на передовой на Западном и Ленинградском фронтах, под Колпином, в Синявинских болотах. Здесь пробыл две страшные первые зимы войны. Здесь же в сорок третьем был тяжело ранен и контужен. Потом госпиталь на Урале, недалеко от Челябинска, потом — демобилизация. Собственно, под Ленинградом для меня и кончилось участие в войне.

Владимир Дорофеев,
академик ВАСХНИЛ, директор
Всесоюзного института растение-
водства имени Н. И. Вавилова

ТАМ, ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Люблю приходить в его мемориальный кабинет. Здесь, под стеклами витрин, хранятся его вещи: книги, карты путешествий, куски соли, разменная монета Эфиопии, французский высотомер, афганский серп, чай Формозы, крахмальные лепешки Синьцзяна, пшеницы Испании, овсюг с развалин Помпеи. На своем обычном месте стоит настольная лампа, на абажуре которой он любил делать записи.

Здесь, в этом кабинете, работал Николай Иванович Вавилов, имя которого еще при жизни было овеяно легендой. Академик трех академий Советского Союза, организатор и первый президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), президент Географического общества СССР, член высших органов Советской власти. Автор более чем трехсот пятидесяти научных работ — многие из них не потеряли своего практического значения по сей день и еще долгие годы будут служить мировой науке. Академии и научные общества мира избирали его своим действительным или почетным членом. Не случайно имя Н. И. Вавилова рядом с именами таких выдающихся биологов, как К. Линней, Ч. Дарвин, Г. Мендель, Т. Морган, украшает

обложку крупнейшего международного журнала «Наследственность». Кажется невероятным, что все это было посылно одному человеку, прожившему пятьдесят шесть лет. А он осилил! Он знал, чего хотел. Что хотел — то мог. Что мог — сделал. Ученые — те же фантазеры и мечтатели, но их деятельность навечно врезается в память и историю человечества.

«Когда-нибудь кто-то напишет потрясающую книгу: „Русские ученые в первые годы Великой революции“. Это будет удивительная книга о героизме, о мужестве, о непоколебимой преданности русских ученых своему делу — делу обновления, облагораживания мира, России», — писал Алексей Максимович Горький. Действительно, когда-нибудь эта героическая эпопея перестанет быть для писателей нераспаханной целиной. Сейчас же мне хочется рассказать о судьбе лишь одной научной теории Николая Ивановича Вавилова, суть которой он определил предельно лаконично: «Овладение Севером увеличит экономическую, политическую и обороноспособную мощь Советского Союза».

Север. Он издавна манил к себе. Люди, задрав головы

вверх, следили за весенними перелетами птиц и спрашивали себя: «Куда? Зачем они летят?» И, не в силах преодолеть необоримую тягу к неведомому, невзирая на трагические судьбы своих предшественников, шли в далекие края. Но, как говорится, много званных, да мало избранных: разрозненные крестьянские семейства справиться с задачами освоения Севера были не в силах, а владевшие южными черноземными землями не испытывали интереса к этому суровому заполярному краю. Правда, власти время от времени принимали единичные попытки развивать в этих районах сельское хозяйство, но встречали резкий отпор со стороны местного чиновничества, которое боялось потерять свои привилегии, если рухнет легенда о недоступности Севера. Поэтому он веками оставался безлюдным и бездорожным, оставался глухим каторжным краем, краем нищеты, голода и смерти. Неказист, заброшен и запущен был «фасад России», как назвал побережье Северного Ледовитого океана еще Радищев.

Первые годы Советской власти... Гражданская война. Интервенция. Разруха. На трубах остановившихся фабрик и заводов — белые шапки снега. На железнодорожных путях, как парализованные, замерли паровозы. Голод. Тиф. Безработица. Беспризорщина. И, словно не замечая происходящего вокруг, Николай Иванович Вавилов именно в эти дни приступает к разработке и научному обоснованию теории и стратегии освоения районов Крайнего Севера.

Как это ни парадоксально звучит сегодня, но в те годы Крайний Север начинался с территории... нынешней Ленинградской области. В те времена возделывалось лишь 12 процентов

ее территории. Нигде в царской России не было такого разительного отрыва промышленности от земледелия. «Ленинградский пролетариат стоит у самого порога советского Севера, — писал Н. И. Вавилов, — ему первому надлежит начать великое организованное наступление на северном фронте земледелия».

Так началась новая, советская эра Севера.

Сергей Миронович Киров со свойственной ему прозорливостью и энергией поддержал рекомендации ученых Всесоюзного института растениеводства. Эти рекомендации были взяты на вооружение Ленинградской партийной организацией. И уже на первом съезде колхозников-ударников Ленинградской области и Карелии Киров говорил: «Туда, где еще вчера темный и суеверный крестьянин молился на пень, где еще вчера ждали помощи только с неба, мы руками рабочих наших фабрик и заводов двинули огромное количество сельскохозяйственных машин, тракторов, послали из города в деревню тысячи и десятки тысяч наших лучших рабочих в помощь крестьянам для устройства новой счастливой жизни».

В 1923 году стало известно, что в районе Хибинских гор открыто уникальное месторождение апатитов. И вот тогда на станции Хибины из вагона поезда вышел молодой агроном Иоган Гансович Эйхфельд (ныне академик, Герой Социалистического Труда). Как он потом рассказывал, первым, что он увидел, было поле, засоренное огромными грудями гальки, песка и валунов, словно только вчера отсюда ушел ледник. Увидел он земли, слегка поросшие чахлым лесом и мхами. Сверкала в лучах незаходящего солнца гладь озера Имандра и над всем этим возвышалась гора Часначорр, вершина которой

была увенчана снегами. Так, на расстоянии в тысячу километров по прямой от Ленинграда, почти на шестьдесят восьмом градусе северной широты, началась история самого северного форпоста агрономической науки в мире — Полярного опорного пункта ВИРа, созданного по инициативе Н. И. Вавилова. Началась трудно. Дело приходилось вести самым примитивным способом — вручную или на лошадях, иной раз по пояс плавая в топкой грязи. Позднее И. Г. Эйхфельд писал: «Успехом мы обязаны не технике, а преданным делу людям и крепким лошадям. Историк земледелия Крайнего Севера вспомнит в будущем не только агрономов И. П. Сомова и П. Е. Ефимова, героических рабочих М. Ф. Онохина, Г. Неклюдова, Геросимова и Миронова, но также нашу великолепную пару серых — „Большого“ и „Малого“». Достижения Полярного опытного опорного пункта позволили уже к началу второй пятилетки не только обосновать создание местных продовольственных баз в приполярной зоне, но и приступить к строительству молочно-овощных совхозов и колхозов.

30 декабря 1929 года под руководством С. М. Кирова состоялось совместное совещание ученых, геологов, энергетиков, строителей и специалистов сельского хозяйства, на котором было принято решение основать совхоз «Индустрия». Несмотря на многочисленные голоса скептиков, пугавших непреодолимыми «объективными природными факторами», был создан первый, говоря сегодняшним языком, агропромышленный комплекс. Уже 21 октября 1932 года «Крестьянская газета» писала: «Рабочие северных новостроек требуют противощинговых молочно-овощных продуктов. Без этого пришедший с юга человек жить на Севере не может. Цинги в

Хибиногорске не было. И в этом несомненная заслуга совхоза „Индустрия“, который взятую на себя задачу снабжения трудящихся Хибиногорска свежими овощами и молоком выполняет».

Организация агропромышленных комплексов при освоении месторождений полезных ископаемых и создании промышленных гигантов в районах Крайнего Севера стало непреложным законом социалистического строительства. Если на Колыме в 1932 году было лишь два гектара посевных площадей, то уже пять лет спустя здесь работало пять совхозов и десять подсобных хозяйств, которые в годы Великой Отечественной войны снабжали население Магаданской области молоком, овощами и другими сельскохозяйственными продуктами. Повсеместно развивалось оленеводство и клеточное звероводство. Сотрудники Полярной опытной станции ВИРа не только теоретически, но и на практике доказали высокую экономическую эффективность и рентабельность создания крупных специализированных молочно-овощных совхозов в зонах северной тайги, лесотундры и тундры — на берегах Северного Ледовитого океана и на отдаленных северных островах.

Сегодня границы северного земледелия (в открытом грунте) и молочного животноводства перешагнули семьдесят второй градус северной широты. Из года в год возрастают и объемы сельскохозяйственной продукции, производимой непосредственно на местах, вблизи крупных индустриальных центров. Более ста пятидесяти научно-исследовательских институтов, опытных станций с опорными пунктами, сельскохозяйственных вузов, независимо от их ведомственной подчиненности, сочетая фундаментальные и прикладные

исследования, науку академическую и вузовскую, широким фронтом ведут работы по освоению естественных ресурсов Севера.

В Продовольственной программе СССР на период до 1990 года выдвинуты различные по срокам выполнения задачи — срочные, средней срочности и долгосрочные. Именно к последним, долгосрочным, относится освоение сельскохозяйственных угодий на севере страны, превращение их в зоны гарантированных, устойчивых урожаев. Задача эта колоссальна по объемам и огромна по своей значимости. Несколько цифр. Территория «северной целины» — это почти двести миллионов гектаров, из которых пока освоено лишь около восьми! В европейской ее части из 48 миллионов гектаров освоено 3, из которых один занят пашней, в западносибирской из 46,6 миллиона эксплуатируется лишь 81 тысяча гектаров, в центральной якутской возделывается всего-навсего 110 гектаров пашни и около двух миллионов гектаров сельхозугодий — из 83,3 миллиона гектаров, потенциально пригодных для использования в сельском хозяйстве!

На ноябрьском Пленуме ЦК КПСС Ю. В. Андропов сказал, что «работникам агропромышленного комплекса надо изо дня в день наращивать усилия, трудиться так, чтобы огромные средства, направляемые на решение этой задачи, давали отдачу уже сегодня и еще большую завтра». И мы, конечно же, понимаем, что нужно идти к этой цели, не останавливаясь ни перед какими трудностями. Верно, Север есть Север. Суровые климатические условия. Огромные затраты материальных и людских ресурсов. Мелиорация, известкование, окультуривание, внесение повышенных доз органических удобрений. И чем

дальше мы углубимся в Заполярье, тем труднее нам будет «отвоевывать» у природы ее богатства, делать новый шаг вперед. Но иного пути у нас нет.

Бесперебойное обеспечение населения продуктами питания в строгом соответствии с научно обоснованными нормами — важнейшая социально-экономическая задача, от правильного решения которой зависят темпы освоения месторождений полезных ископаемых и строительства новых заводов и фабрик, новых городов. Вряд ли можно считать резонными предложения некоторых экономистов и впредь завозить с юга на север значительные объемы продуктов питания. Исстари же говорится: за морем телушка — полушка, да рубль — перевоз. Единственно правильный, на мой взгляд, путь — это создание там, на местах, своих собственных агропромышленных комплексов. Но каковы реальные возможности сельскохозяйственного освоения просторов Крайнего Севера? Каковы перспективы в самом ближайшем и отдаленном будущем?

Эти вопросы задаем себе не только мы, ученые. Эти вопросы волнуют и молодых жителей Заполярья, и тех, кто намерен связать свою судьбу с этим прекрасным и суровым краем.

Север. Произносишь это слово, и перед мысленным взором возникают безбрежные снежные пустыни, торосы, метели, морозы, всполохи полярных сияний и «шепот звезд» — так называют звуки мгновенно замерзающего выдыхаемого воздуха, который превращается в мельчайшие льдинки, звенящие словно сказочные колокольчики...

Но есть и другой Север. Белые-белые ночи. Солнце ни на минуту не опускается за горизонт. Кругом безбрежье трав, грибов, цветов, ягод. Не зря

перелетные птицы, преодолевая тысячи и тысячи километров, так настойчиво стремятся на Север, да и человек, хоть раз увидевший заполярное царство трав и цветов, навсегда сохранит об этом неизбывную память.

Север — царство многолетних трав. Свыше девяноста процентов диких растений Севера — многолетники. И чем выше поднимаемся с юга на север — тем их больше. В чем, спросите, дело? В природе все продумано. Она создала растения, чьи семена даже в холодное лето успевают вызревать. Многолетние травы способны в осенний период при пониженных температурах поглощать солнечную энергию, фотосинтезировать и накапливать про запас органические вещества в корневых системах. После зимовки они, сохранив значительную часть питательных веществ, начинают их расходовать на формирование листьев и стеблей. Эти процессы человек может эффективно стимулировать, применяя минеральные удобрения. А когда температура поднимается выше 10 градусов — начинается вегетация однолетних растений. Многолетники к тому времени уже имеют хорошо развитые листья. Как правило, урожаи картофеля, капусты, многолетних трав на Севере выше, чем в средней полосе России. При достаточной обеспеченности земель влагой и минеральными удобрениями растения способны дать отаву — второй в сезоне урожай травы.

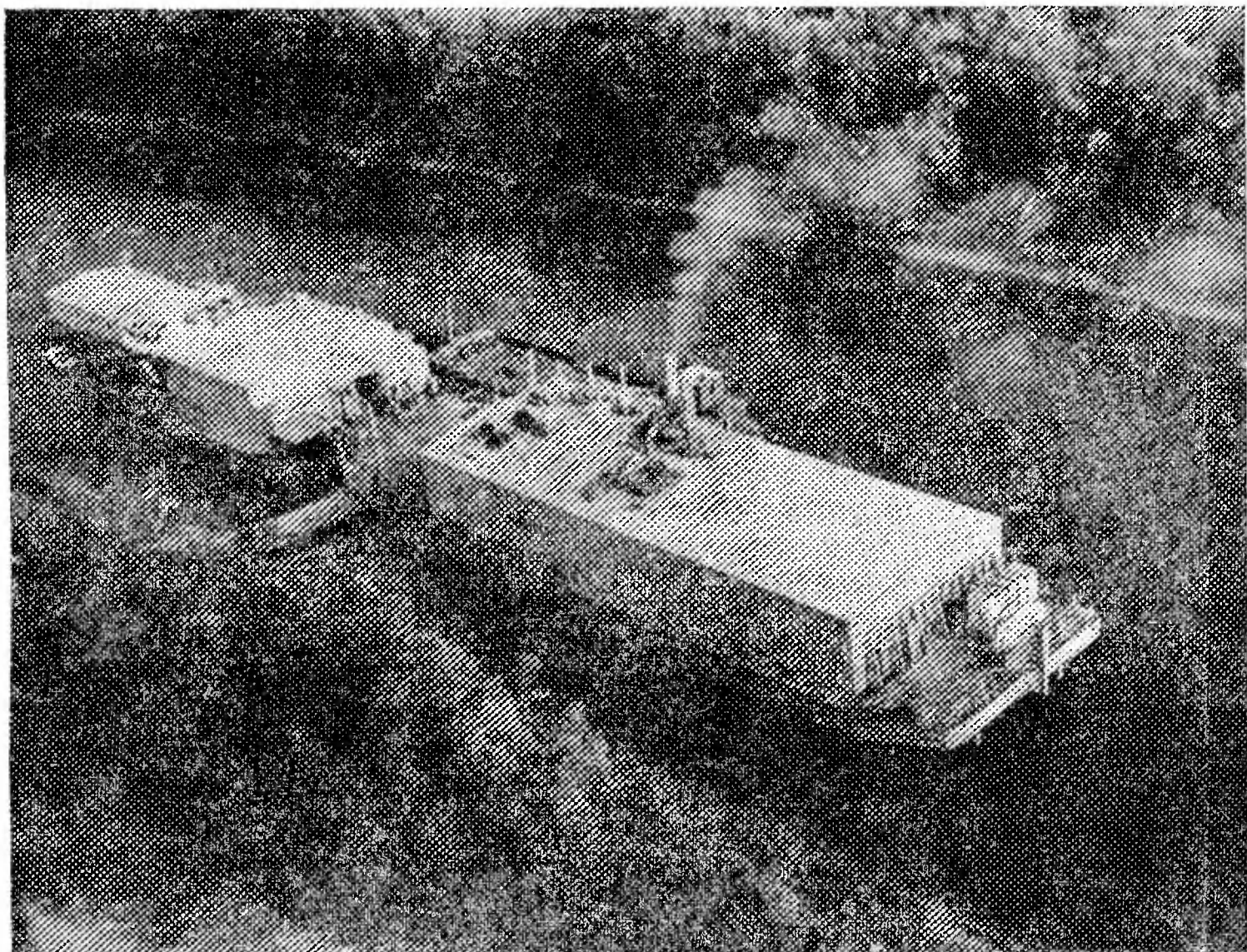
Известно, что вырастить урожай — полдела, надо его еще вовремя убрать и сохранить. И тут необходим запас времени для того, чтобы успеть до дождей и заморозков наполнить закрома. Поэтому удобнее всего на Севере возделывать многолетние травы, силосные культуры и скороспелые фуражные сорта зерновых. Их уборку луч-

ше производить в теплое время, когда все работы на полях можно механизировать. Вообще, растениеводство здесь немыслимо без автоматизации и механизации, без хорошо налаженных сушильных хозяйств.

Есть все предпосылки для того, чтобы в недалеком будущем северное растениеводство обеспечило все живущее в этих районах население картофелем, овощами, ягодами, а животноводство — кормами. Более того, здесь можно будет организовать страховой фонд кормов в виде прессованного сена, травяной муки и гранул. Случись засуха на юге, корма эти могут быть переброшены в другие районы страны водным или другими видами транспорта. Но нужны нам эти запасы не только на случай неурожая. Когда будет создана надежная кормовая база на Севере, в южных областях вполне можно будет пересмотреть структуры посевных площадей и на местах кормовых угодий посеять пшеницу, рожь, ячмень, овес, просо, гречиху.

А разве можно обойтись при решении этой огромной народнохозяйственной задачи без тщательного подбора сортов растений, без создания новых, еще более устойчивых культур, приспособленных к суровым условиям этого края. Например, костер безостый отличается долголетием, зимостойкостью, высоким содержанием белка и каротина. Урожайность зеленой массы «кинельского» и «моршанского» его сортов превышает (за два укоса) 40 тонн с гектара.

Развитие животноводства находится в прямой зависимости от кормовой базы. Когда мы говорим о травах, о кормах, то тем самым мы говорим о молоке и мясе. Биологическая продуктивность каждого гектара пойменных земель составляет 3—4 тонны грубых кормов.



На этом снимке вы видите, как буксир с плавзаходом подходит к берегу

Освоение одной лишь поймы нижнего Енисея в пределах Турханского края полностью обеспечит кормами животноводческие хозяйства не только енисейского Севера, но и всего Красноярского края.

Я вижу будущее Севера. Прекрасное будущее. На месте болот и пустырей возникнут мощные сельскохозяйственные комплексы. Возле промышленных центров раскинут свои застекленные уголья парники и теплицы, пользующиеся не только солнечным светом и удобрениями как источниками тепла, но также электроэнергией. Отходы заводов и фабрик — горячая вода, пар, газы — пойдут в дело.

А как же быть с миллионами гектаров земель, покры-

тых сочным разнотравьем, отцветающим без пользы для нас из года в год в стороне от промышленных центров? Как дотянуться до них, когда нет в тех местах дорог — ни асфальтированных, ни бетонных, ни проселочных — никаких. Люди вспомнили, что первопроходцы использовали в качестве дорог реки, и сконструировали плавучие кормозаготовительные комплексы. Как они работают? Буксир с плавзаходом подходит к берегу. По трапам спускаются кормоуборочные комбайны и тракторы с тележками. Они приступают к работе: комбайны убирают траву, тракторы отвозят ее на плавбазу, где она перерабатывается в высококачественный корм и складывается. Закончив уборку одного участка

земли, плавзавод переходит на другое место, и снова — «де-сант». Эти плавзаводы могут работать длительное время в отрыве от населенных пунктов и без снабжения. Так родилась новая технология уборки трав в труднодоступных районах нашей страны. Сейчас таких «кормозаготовителей» единицы, но уже в ближайшие годы их будут сотни. Возможно, тем молодым людям, которые сейчас учатся в сельских ПТУ, предстоит осваивать и эту удивительную профессию — «косарей на плаву». Романтическая профессия!

С детства я мечтал разводить сады, но судьба распорядилась иначе. Мое поколение, девятнадцатого года рождения, в тяжелых боях с фашизмом отстаивало свое право на созидательный труд, право на творчество, право на любовь и счастье. А сколько моих одногруппников так ничего и не успели сделать, кроме одного — отдать свою жизнь во имя Победы! Я и поныне, когда закрываю глаза, вижу горящие, как свечи, танки и просыпаюсь от оружейных выстрелов. Кто-то сказал, что на нас «военные сны, как пулеметы, навешены». Не люблю

я вспоминать войну, но нашему поколению от этих снов не избавиться. И мне очень хочется, чтобы они миновали вас, мои молодые друзья.

У меня позади остались пыльные дороги отступления до Сталинграда — мимо сожженных хлебных полей, черной, изуродованной воронками земли, пустынных деревень. Позади остались дороги от Сталинграда до Берлина.

В мирные годы я прошел с экспедициями Закавказье и Дагестан, Иран и Сирию, Турцию и Ирак, многие другие страны, почти на всех континентах побывал. Возвратившись домой, каждый раз я особенно остро чувствовал, как дорога мне моя родная земля, на которой и для которой мы живем и трудимся.

Сегодня наука открывает перед нами межзвездные пространства. Уже можно предвидеть, на что она способна в ближайшем будущем. И человек извечно ставит перед собой вопрос:

Что там, за границу конечной,
Что там, в сиянье звезд златых?

Но звезды звездами, а хлеб всегда остается хлебом...

Над рекой

Над рекой стою — у края,
под покровом тишины.
На судьбу свою взираю,
как на лес, — со стороны.
Было все, чем славен каждый:
час рожденья, век пути...
Но еще имелась жажда:
быть собой, себя найти!

Над рекой стою, над лесом,
чую запах звезд, грибов...
Было все — от слез до песен —
но еще была — Любовь.

Знаю, сей алмаз сверкает —
всем суля восторг утех...
Но моя была — другая,
не такая, как у всех.

Над рекой стою, светлея,
вдаль смотрю — за перевоз.
И шумит листвою аллея
лет моих — моих берез.
Было все — за все спасибо.
Над рекой туман плотней.
А еще была... Россия
в каждой веточке моей.



От родных вдалеке,
погруженный во мхи,
я сижу на пеньке,
поджидаю... стихи.
На болоте кулик
окликает друзей,
а над лесом возник
мелкий дождь-моросей,
эфемерный поток,
заунывной тоски...
Не его ль шепоток
проникает в мозги?
Он терзает мне пульс,
лихорадит мой мир:
«Ты куда из-под пуль
улизнул, дезертир?»

За стихами? Изволь...
Но однако ж ты плут:
ведь стихи — там, где боль,
там, где люди живут,
где над пеплом грехов —
добрых дел синеза...
Там найдешь для стихов
и себя, и слова...»
...Не вступив в разговор,
без пробития в грудь,
как послушный мотор,
я направился в путь —
в тот невымерзший сад
с древним именем Русь...
И туманила взгляд
старомодная грусть.



Зима. В квартире мошки
летают надо мной.
Котят зреют... в кошке
под шубкой шерстяной.
На полке дышат книги,
их мысленьки во тьме.
И происходят сдвиги
в пространстве и в уме.
Дымок над чашкой развит,
молодцеват, как я!
Опять бодрят и дразнят

приметы бытия.
Зима с ее длиною
не застит роз и мирт.
В дверях лицо родное,
как пропуск в лучший мир.
Водичка в батареях,
как в жилах кровь — слышна!
И с каждым днем мудрее
свет
из глубин окна...

13 июня 1944

С. В.

В обозе беженском
близ вод Березины
ты родилась, мой друг,
ты — крестница войны;
под крышей дыма
от вселенского костра
под «хальт!» немецкое
и русское «ура!»
...А в это время,
беспризорней воробья,
от злых колес войны
увертывался я.
Не ваш ли «табор»,

что гнезвился вокруг огня,
столь щедро корочкой
полакомил меня?
Не твой ли
в тряпочки увитый голосок
мне вдруг доверили
качнуть один разок?
Оно останется во мне,
в моих веках —
то, как баюкал я
ребенка на руках,
как вынес трепетный его
улыбки свет
из душевной памяти
тех обгоревших лет...

□

Я тоскую негромко
по всем не достигшим меня
облакам и губам,
задохнувшимся в черепа
мыслям,
по улыбкам своим,
не расцветшим в течение дня,
по стихам, не рожденным,
что радугой с неба
обвисли.
Я сегодня прощаюсь
с неведомой мне стороной,
где подошвы мои
не ступали по травам, играя:
не успев повстречаться —

прощаюсь
с чужой тишиной
Антарктиды,
Луны,
на просушку закрытого рая...
Я смотрю пред собой:
на тропу, на кустарник рябой,
на шатанье дождя,
на печаль
твоих робких подглазней.
Посетившая сердце мое,
как расстанусь с Тобой?
Как порву
эти нити врастанья —
не связи?

К солнцу

Слез кипенье, румянца пыл.
Кто не плакал,
тот не любил.

Встанем оба на самый край.
Крикнем солнцу:
не умирай!

Вот он, светлый наказ любви:
мы погаснем,
а ты — живи!

Мы померкнем — но в пляске лет
чье-то сердце
подарит свет
там, в долине, у наших ног...

Жизни
наша любовь —
венки.



Олег АФАНАСЬЕВ

ЗАНЯТИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

РАССКАЗ

Учиться Гену поставили к высокому худощавому человеку лет сорока.

— Ну, сегодня будешь только смотреть, — сказал учитель.

В тот день учитель обрабатывал какой-то сложный вал, действовал неторопливо, но в глазах было такое внимание, будто мину разряжал. И все вокруг заняты были серьезным делом. Только Генина жизнь как бы остановилась, каждая минута казалась бесконечной.

В первый день работа походила на давно забытое детское наказание, когда ставили в угол на неопределенный срок. Стой и осознавай. Осознал ты или нет, решают за тебя взрослые. А ты стоишь и ждешь, когда же решат, что

ты уже осознал. Иногда Гена чувствовал, что мешает своему учителю, сторонился. «Ничего, ничего», — бормотал тот, не отрывая глаз от вала.

К обеденному перерыву он закончил вал, очень обрадовался, подхватил Гену под руку и почти бегом увлек в столовую. Там посадил за стол «сторожить место», а сам скоро принес обед на двоих.

— Понимаешь, это я сегодня по заказу наших рационализаторов старался. Никогда еще не делал таких передач с полукруглыми зубцами. Когда приспособишься, ничего сложного. Но в первый раз — это в первый раз...

Объяснившись таким образом, он внимательно посмотрел на ученика.

— А ты, я вижу, затамился. После перерыва обязательно придумаем тебе занятие.

Они вернулись в цех. И началось ученье.

— Самое главное — хороший инструмент. Нет, конечно, самое главное, чтобы станок был в порядке. Но это уже не от тебя зависит, хотя отчасти и от тебя. Так вот, самое главное — хороший инструмент. Если у тебя хороший инструмент — резцы, сверла, лерки, метчики и прочее, то и на не очень хорошем станке можно точить замечательные вещи... Ну и быть внимательным надо, не спешить.

Не спешить — это особенно относилось к Гене.

— Ой-ой! Дайте, пожалуйста, это просверлить мне, — просил Гена, глядя на то, как легко и просто у учителя все получается, и начиная воображать, что это и в самом деле легко. Учитель уступал ему свое место. Но едва Гена брался за рукоятку пиноля, как сверло, только что вползавшее в металл, как в масло, с треском ломалось.

— Так! Сегодня, Генашек, ты свою норму перевыполнил: два резца сломал и сверло... Теперь дай мне свою выполнить.

Шли дни, и постепенно у Гены начало получаться.

Василий Митрофанович Ленев — так звали его учителя — работу делил на «массовую» и «настоящую». «Массовую» — серии втулок, осей, шпилек — он все чаще доверял Гене, а сам занимался «настоящей» — каким-то давно задуманным усовершенствованием. Работать он умел на любых станках — строгальных, фрезерных, сверлильных. Стоя за своим «дипом», он зорко поглядывал в цех, и как только там освобождался нужный ему станок, передавал рукоятки «дипа» Гене, а сам, не сводя глаз с намеченного станка, спешил к нему с железками и чертежиками.

Без него Гена скоро забывался. Из собственных движений, из шума станка, из движений и шума вокруг слагался для него некий ритм. И он работал под эту музыку. Одна готова... И еще одна... И еще!.. И вдруг слышал рядом с собой насмешливый голос:

— А чего ты вокруг станка бегаешь? — Ленев, оказывается, про него не забывал.

— Как это бегаю? Мне надо, — возражал Гена.

— А вот и не надо. Ты бегаешь вокруг станка, и тебе только кажется, что работа идет на полный ход. Смотри...

И он раскладывал инструмент иначе — все оказывалось под рукой, и начинал он как будто неторопливо, но обрабатывал каждую деталь гораздо быстрее Гены.

— Я понимаю, тебе хочется работать быстро, да беготней делу не поможешь.

Когда у Гены совсем не получалось и он приходил в отчаяние, Ленев опять-таки знал, что сказать.

— Никогда не думай: «Я этого не смогу. Мне это не по силам». Надо так: «Неужели нельзя этого сделать? Другие ведь делают». Понимаешь, вопрос вместо точки. Ну, а там пройдет время, и обязательно получится.

Ленев во всем заготовительном отделении был самым непоседливым, общительным человеком.

— Не люблю вечно надутых. Есть такие, которые по десять лет на заводе работают, каждый день на одной лестнице встречаются и никогда друг другу «здравствуй» не скажут...

Влюбился Гена в своего учителя, всю свою жизнь ему выболтал. И Ленев в долгу не оставался, многое такое рассказывал, чего, на строгий взгляд, рассказывать семнадцатилетнему мальчику не следовало бы. Да ведь они были друзья — чего же скрывать?

И в цехе Гене нравилось. Цех был старый, с очень толстыми стенами, очень тесный внутри. Здесь уже многие годы ничего не менялось. Все предметы находились в определенном порядке, даже какая-нибудь замасленная тряпка. Стоило переложить ее с места на место, как уже находился владелец: «Кто взял?» Право на крохотный участок площади устанавливалось в спорах. «Дорогой, я уже три дня этим местом пользуюсь». — «А я всю жизнь». — «Тогда скажи, что здесь в прошлом году лежало?» — «Мой шкаф с инструментом стоял». — «Вот и неправда. В прошлом году здесь стоял сверлильный станок». Являлись судьи: «В нашем цеху уже пять лет ничего не менялось». И тогда один из спорщиков сдавался: «Ладно, Федя, пользуйся...» — «Ну почему же? — мгновенно обижался Федя. — Я только в целях истины. Пользуйся ты...» — «Не надо, не хочу». В конце концов, выигравший должен был оправдаться.

В цехе работало несколько ветеранов, во время войны эвакуированных с заводом в Тбилиси. «Работали, пока сил хватало. Зайдешь к начальнику в кабинет, он на тебя посмотрит, нальет в мензурку спирту, выпьешь — и назад к станку... Ну а если на ногах не удержишься, на диван прямо в кабинете ложишься и спишь». Сложной, точной работы ста-

рикам не поручали — «глаз не тот, руки не те». Работали они не быстро, зато безотказно. Ленев и другие лучшие мастера, знающие себе цену, могли спорить с начальством, гневаться, капризничать, старики же никогда не спорили. В чем-то они считали себя выше других, но во многом уступали без сопротивления.

— А знаешь, настоящий металлист дороже десятка обыкновенных инженеров стоит, — говорил Гене Ленев. — Я себя настоящим мастером не считаю. А ведь и присматриваюсь, и думаю. Понял, что это такое?.. Десятки лет инструмент собирать надо, учиться.

Гена понял: ему намекали — вот тебе занятие, которого на всю жизнь хватит. Что-то здесь было не так. Гена ощущал себя человеком куда более сложным, чем Ленев. Человеком, удовлетворить которого непросто...

Через три месяца Гене присвоили третий разряд, и на небольшом станке он самостоятельно стал точить оси, валики, ролики — мелочь всякую. Но без учителя и тут не мог обойтись.

— Дядя Вася, что-то резец эту сталь не берет!

Ленев подходил, смотрел, потом щупал резец. Удивлялся:

— Заточка вроде правильная. Ну-ка убавь обороты.

Гена убавлял. На малых оборотах получалось что-то странное. Резец давил, а не резал, стружка не вилась, а разлеталась в стороны.

— Еще убавь, — говорил Ленев.

На самых малых оборотах совсем ничего не получалось. Гена падал духом. Но напряженно следящий за его действиями Ленев мгновенно вдруг командовал:

— А теперь поставь самые большие!

Со свистом начинал вращаться шпиндель. Одновременно отшатнувшись от станка, Ленев и Гена тут же склонялись над деталью — резец легко резал сталь, стружка вилась ровно, не пережженная, абсолютно белая.

— Вот так. Шуруй! — кричал очень довольный Ленев и шел на свое место.

Гена тоже доволен. Наверное, он чего-то достиг, наверное, повзрослел, потому что уже мог критически думать о своих недавних переживаниях, когда не прошел по конкурсу в институт. Времени после работы у него было много, и он часто встречал своих одноклассников. Каждый как-нибудь изменился. Двоих, Надю Капустину и Петьку Смагу, было не узнать. Надя прошла в медицинский. И без того большие глаза ее расширились и горели: «У нас на факе!.. У нас... у нас...». Тихая в школе, Надя жила теперь на все сто процентов. А буйный Петька Смага, наоборот, потух: «Трудно... Не знаю, вытяну ли... Столько всего! Нет, не вытяну». «Эгоисты, — думал Гена. — Надька чокнулась и Смага дохлый стал от того, что страшно себя любят». Поразмыслив, Гена пришел к вы-

воду, что и ему в новом его положении, кроме любви к себе, ничего другого не остается. А кого еще любить? Старая школьная их компания распалась. Папу? Маму? Ленева?.. Это само собой, но это не то.

Гена достал школьные учебники и программу для поступающих в вузы, но почувствовал отвращение. Нет, это совсем не то.

Однажды он купил две книги — «Токарное дело» и «Справочник токаря». Стал читать. Там было все, на что Ленев потратил два десятка лет!..

И вот у Гены возник план прямо-таки феерический. Он же знает, что к жизни надо относиться творчески. Так вот, токарное дело и будет первой вершиной, которую он возьмет. В оставшиеся до лета месяцы (в институт он все-таки будет обязательно поступать!), сочетая теорию с практикой, оставаясь после смены, он будет точить сверлильные патроны, переходные конусы... попросит Ленева дать ему сложное и нужное задание...

Прекрасное настроение было у Гены, когда его вызвали в отдел кадров и сказали:

— На строительстве нового заводского корпуса не хватает разнорабочих. Придется вам один месяц поработать там. Гена растерялся.

— А зачем? Я токарь, мне в цеху нравится.

— Молодой человек! Конечно, в цеху тепло, светло и мухи не кусают, а на стройке холод, туманы, сквозняки... Но ведь всего месяц! Есть закон: на один месяц имеем право послать. В конце концов, разве вам, молодому, не интересно стройку посмотреть?.. — И дали расписаться в журнале о том, что с приказом ознакомился.

Ах, как было обидно! Только начал работать самостоятельно, и вот отрывают.

Когда был учеником, он осмотрел все цеха завода, а также и стройку. Стройка показалась ему самым неинтересным местом. В цехах жизнь бурлила, стройка поражала пустотой. В огромном, застекленном корпусе шевелятся где-нибудь в углу несколько человек: потом две-три перегородки, за которыми никого, и опять несколько человек шевелится. Разве это темпы? И сами строительные рабочие казались медлительными, отсталыми. Никакого сравнения с легко одетыми, подвижными и ловкими рабочими из цехов.

Впервые после долгого времени пошли мысли о том, что, по-видимому, он из тех, кому не очень везет... Не хотелось на стройку!

Однако делать было нечего, на следующее утро он пришел в отдел капитального строительства. Это был склад стройматериалов с теплым коридором и конторкой прораба. Среди строительных рабочих было пять человек таких же, как Гена, присланных из цехов. Они уже друг друга знали,

сидели в стороне на бочках с краской. Между ними шел такой разговор:

— Тебя за что сюда?

— На исправление. С мастером не поладил.

— Я тоже... Но не горюй. Я им поработаю! Что я, подсобный? Платить будут по среднему, а остальное меня не волнует. Три лопаты в день брошу, и хватит с меня.

Третий пожаловался:

— А я каждой дырке затычка.

Развеселил он всех этим признанием.

— Так тебя и здесь куда-нибудь воткнут!..

Гену спросили:

— А тебя, молодой, за что?

Гена пожал плечами:

— Ни за что.

— Все ясно. За то, что молодой.

Потом строительный народ под водительством прораба, быстрого, нервного человека лет тридцати, направился в строящийся корпус. Цеховые поплелись в хвосте. В гулких залах нового корпуса стоял холодный туман, все съежились, пританцовывали. Завод уж минут пятнадцать работал на полный ход, а здесь чего-то ждали. Один прораб носился чуть боком, с гордо поднятой головой. Но постепенно народ расходился, к группам в пять, два, три человека прикрепляли одного цехового. Наконец остались Гена и прораб. Прораб глянул на Гену и, ничего не сказав, умчался куда-то. Скоро он вернулся с молотком и зубилом.

— Пошли!

В небольшой комнате с неоштукатуренными стенами прораб объяснил Гене, как в кирпичной стене выдолбить «борозду» — канавку для электрических проводов. Гене не нравился тон прораба — безапелляционный.

Уходя, прораб сказал:

— Дневную норму выполнять на сто процентов.

«Дурак», — подумал Гена и спросил, сколько же это метров «борозды» должен он продолбить.

И тут прораб замешкался. Он не знал, сколько.

— Ну, надо хорошо работать... Да, именно хорошо, добросовестно работать. — И умчался.

Выдолбить в стене канавку казалось делом простейшим: знай бей молотком по зубилу... Впереди был целый месяц подобной работы. И начал Гена осторожно, стараясь не запачкаться в красной кирпичной пыли, летевшей из-под зубила. Через каждые пятнадцать минут садился в окне и смотрел на заводской двор, размышляя о том, как это неправильно и несправедливо, что оторвали его от станка, и теперь он ни там, ни здесь не работает... Но, во-первых, одет он был в промасленный хлопчатобумажный комбинезончик, в котором за станком работал, и начал не на шутку замерзать, а во-

вторых, кирпичи не поддавались. «Что за ерунда? А как все-таки надо, если б я захотел?» — подумал Гена и стал бить молотком изо всех сил, не обращая внимания на пыль и осколки. Работа сразу подалась вперед, мышцы правой руки вздулись и стали твердыми, он вспотел, и от него пошел пар. Когда не стало сил бить, он, задыхающийся, присел на подоконник. Нет, не умеет работать!.. И вдруг затосковал по цеху, где он с удовольствием работал по-настоящему. Ну зачем его сюда перевели?.. Здесь даже слова не с кем сказать!.. Он бросил молоток и зубило и пошел в цех.

В цеху все было родное: гул моторов, визг, скрежет металла и волны теплого сизоватого воздуха. Только люди, на Гену глядя, улыбались как-то хитро. И Ленев хитро улыбался. «Ну, как оно там?» Гене хотелось пожаловаться. Никуда не годная там организация!.. Если бы была четкая, как в цеху, не потребовался бы он там... На одну раскачку у них уходит бог знает сколько времени!.. Вместо этого Гена сказал:

— Холодно там очень.

И Ленев сейчас же перестал улыбаться.

— Так у меня стеганка есть! А как же? Зимой приходится из цеха выскакивать. Я и держу. Ты возьми пока. — Он извлек со дна ящика для инструмента стеганку и еще резиновые сапоги.

— Бери!

— Да ведь зима начинается. Вам самому понадобится. И запачкаю.

— Бери, говорю! Тебе там выдадут, тогда и вернешь.

Тепло одетый, неловкий в сапогах и стеганке и уже поэтому отчасти чувствующий себя строительным рабочим (как и они, неуклюжий!), Гена вернулся к кирпичной стене, в которой должен был пробить «борозду». Убедился, что никто его не предал, никто ему зла не хотел, а все-таки зол был в тот день. Все его планы из-за проклятой стройки рухнули!

Время от времени заглядывал прораб.

— У, даешь стране угля!..

На следующий день Гена работал в паре с настоящим строительным рабочим. Носилками выносили из подвала мусор. Гена, как всегда, торопился. Он понял, что на стройке прежде всего должен показать характер, — и торопился показать характер. Когда грузили носилки, умудрялся бросить на них две лопаты мусора, в то время как его напарник бросал одну. И по лестнице скакал с груженными носилками через две ступеньки. Пришло, как ему казалось, время отдохнуть. А молчаливый пожилой напарник работал себе и работал. Гена стал поглядывать на него. Простое лицо ничего не выражало. Наконец Гена попросил:

— Давайте отдохнем.

Тот остановился.

— Немного можно. Надо все успеть вынести и спланировать. Завтра бетон ложить будем.

Словом «бетон» отчего-то удивило Гену.

— Я и вы — будем здесь бетонировать?

— Кто ж еще? Мы...

Третий день на стройке был ослепительный. Выпал снежок и сейчас же начал таять. Они носили в подвал готовый бетон, тромбовали, планировали. В подвале было сумрачно и пахло цементом. А когда выбирались во двор, сияние снега слепило глаза, ветер пахнул водой и смолой, дышалось легко и на душе было легко. Удивительно, но, работая рядом с пожилым строителем, Гена опять был вроде как бы на месте...

И еще были дни — и дождливые, и солнечные. Они бетонировали в подвале, потом в здании. И наконец уже не бетонировали, а асфальтировали крышу корпуса. Вдруг выпало много снега, и с крыши было видно, как тракторы и машины вывозили снег, а на крыше стоял зной от раскаленного асфальта. Когда не было машин с асфальтом, они надевали стеганки, шапки. И Гена смотрел на то, как вывозят снег, на неподвижные заснеженные крыши вокруг, на небо. И даже не заметил, как в это небо вылетела и без следа рассеялась много месяцев тому назад поселившаяся в нем то громко ноющая, то потихоньку сосущая боязнь жизни.

На крыше он чувствовал себя прекрасно.

Обращение к спортзалу

Я до сих пор не забываю зал,
в котором запах пота и магnezии
меня необъяснимо волновал,
как самая правдивая поэзия.
Переиначив мудрый афоризм,
девиз у спорта прост:
«Дум спэро, спиро» *.
В нем каждый день
разыгрывает жизнь
трагедии, достойные Шекспира,
Здесь мастерство —
единый идеал.
Здесь, редкие ошибки исключая,
сильнейший занимает пьедестал!
Талант и труд —
счастливая случайность.
А тот,
кто в равной схватке проиграл,
поймет победно вскинувшего руки...
Целую твой порог,
спортивный зал,
и кланяюсь — за все твои науки.



Я каждый день живу,
как день последний —
так все до крайности обострено.
Стремительного времени наследник,
я — объектив
документального кино.
И сквозь меня проходят панорамы
знакомых мне и незнакомых лиц,
я вижу
крупным планом —
судеб драмы,
а общим —
в небе перелетных птиц...
Фиксирую.
Кодирую программу.
Но есть у пленки-памяти канал,
где только сердце
пишет фонограмму
всего, что я увидел и узнал.

* Пока надеюсь, дышу (лат.).

В конце концов,
ведь всякое искусство —
запечатленный в образ документ.
Тут важно,
чтобы мысль сливалась с чувством,
тут важен тот магический момент,
когда все факты
сквозь родник кристальный
душевных мук
пройдут — как через фильтр.
И вот тогда
кино документальное
я обращаю в художественный фильм.

Владимир РОДИОНОВ

Зрелость

А в зрелость вход,
не по билетам,
Не по знакомству — по делам.
И пусть бывает трудно нам,
Не стоит сетовать на это.
Бывало во сто крат трудней,
Когда в грозу,
что разрасталась,
Моя Отчизна на парней,
Стоявших насмерть, опиралась.

Вечный огонь

Вечно рассветы
И вечно закаты
С вечным огнем
Будут вечно алеть...
Непобежденным
Отчизны солдатам
Вечная память
Не даст умереть!

Борис
Никольский

УТРЕННЯЯ
ПРОГУЛКА
ПО ВАШИНГТОНУ,
ИЛИ
РАЗДУМЬЯ
НА
АРЛИНГТОНСКОМ
КЛАДБИЩЕ



Время идет, и тот день, о котором я собираюсь рассказать, все более и более отдаляется, уходит в прошлое, но тем не менее продолжает жить в моей памяти. Да и события, происходящие в нынешнем, сегодняшнем мире, не дают забыть впечатления того дня, заставляют вновь и вновь обращаться к ним.

Так случилось, что в тот день, один из последних дней нашего пребывания в Вашингтоне, я опоздал на туристский автобус. После завтрака я поднялся к себе в номер перезарядить магнитофонную пленку, а когда снова спустился в холл отеля, увидел, что никого из моих то-

варищей по туристской группе уже нет. Я выскочил на улицу, но и здесь, у подъезда отеля, никого не было. Не было и нашего автобуса с маленькой табличкой за лобовым стеклом, сообщавшей, что в нем путешествуют «soviet writers» — «советские писатели». Уже позже выяснилось, что в суматохе, в спешке, когда все рассаживались по своим местам в салоне автобуса, никто не заметил моего отсутствия, сочли, что вся группа в сборе, и благополучно укатили. Но это я узнал позже, а тут я в растерянности и досаде топтался возле отеля, все еще надеясь, что, может быть, друзья заметят мое отсут-

ствие, спохватятся и вернутся. Однако автобус не возвращался. И мне оставалось только всячески ругать себя за то, что я связался с магнитофонной пленкой, — зачем, спрашивается, мне во что бы то ни стало понадобился магнитофон?..

Моя досада была вполне понятна, потому что я знал, что в этот день нашей группе предстояло побывать в Капитолии, в мемориале Линкольна и на Арлингтонском кладбище, где похоронен президент Джон Кеннеди, — одним словом, осмотреть важные достопримечательности Вашингтона. Нет, смириться с тем, что я уеду из Вашингтона, не увидев мемориала Линкольна, не побывав на могиле Джона Кеннеди, я не мог.

Не теряя времени, я решил действовать. Со своим знанием английского, со своим произношением я не особенно рассчитывал на то, что сумею добраться до цели на обычном городском автобусе. К тому же я давно уже заметил: чтобы хоть немного почувствовать, узнать незнакомый город, самое лучшее — промерить его улицы собственными ногами. План Вашингтона, причем достаточно подробный, у меня был, я мысленно прикинул по нему свой путь: главное — выбраться на Двадцать вторую стрит, а там уже шагай себе прямо, никуда не сворачивая, не так уж, оказывается, и сложно. Правда, судя по плану, мне предстояло пересечь с севера на юг едва ли не половину города, но спешить теперь было особенно некуда, и я уверенно двинулся в дорогу.

Стояло ясное, осеннее утро, мягко пригревало солнце, улицы, по которым я шел, были по-утреннему чисты, тихи и пустынно. После Нью-Йорка, с его небоскребами и трущобами Бауэри-стрит, после бесконечных автомагистралей Лос-Анджеле-

са, после гордящегося своими сверхсовременными фешенебельными отелями Сан-Франциско Вашингтон казался уютным и тихим. Здесь не надо было задирать голову, чтобы увидеть полоску неба — оно просвечивало мягкой голубизной, солнечными бликами сквозь пожелтевшие листья деревьев.

И чем дальше я шел по этим улицам, тем сильнее охватывало меня ощущение покоя и умиротворенности. Есть в ранней осени, с ее прозрачностью, с багрянцем опадающих листьев, с ее светлой задумчивостью, нечто такое, что вызывает в душе особое состояние, когда радость мешается с легкой печалью и весь мир, вся земля, все люди вдруг начинают казаться такими близкими, такими бесконечно дорогими тебе. Это состояние я не раз испытывал у себя на родине, в России, именно ранней осенью, а теперь неожиданно оно явилось ко мне здесь, в чужом, незнакомом городе.

Пожилой, полный мужчина в комбинезоне сметал со ступеней, ведущих в особняк, опавшие желто-красные листья. Услышав мои шаги, он выпрямился и взглянул на меня. У него было загорелое, приветливое лицо. Он улыбнулся мне одними глазами — или, может быть, это только показалось мне? — но я пошел дальше, унося с собой эту улыбку.

Как легко, как славно шагало мне в то утро!

И когда я вышел наконец к парку Конституции, к мемориалу Линкольна, я вовсе не ощущал усталости. По-прежнему светило солнце, и небо было все таким же ясным, голубым, оно отражалось в торжественной водной глади, идеально ровным прямоугольником протянувшейся перед мемориалом Линкольна. Среди аккуратно подстриженных газонов двое

ярко одетых ребяташек с само- забвенной веселостью играли в мяч. Тут же, на траве, подстелив газету, спал старый негр. И даже вид этого, по всей вероятности бездомного, человека не смутил, не нарушил того ощущения безмятежности и покоя, которое владело мной. Казалось, и этому старому негру хорошо спится сейчас, здесь, под лучами осеннего солнца...

И от знаменитой белоснежной статуи Авраама Линкольна веяло величавым, даже чуть суровым спокойствием.

Этот человек исполнил главное дело своей жизни — он провозгласил освобождение рабов и вошел в историю Соединенных Штатов как Друг Народа. Плантадоры, расисты, реакционеры не простили ему этого. В 1865 году Линкольн был сражен пулей убийцы.

В молчании я постоял перед великим американцем и пошел дальше — к мосту, ведущему через Потомак к Арлингтонскому кладбищу. Мимо меня со стремительным шорохом пробегали редкие туристские автобусы, сверкнув, проносились легковые автомашины — пешеходов на мосту не было. Я шагал в полном одиночестве, и это тоже казалось удивительным — словно в странном сне или фантастическом фильме: огромное пространство моста и только один-единственный человек, шагающий по нему. Едва ли не в самом центре столицы я оказался вдруг один на один с небом, водой и солнцем. Как будто кто-то нарочно заботился о том, чтобы ничто не мешало мне предаваться собственным раздумьям, чтобы ничто не разрушило того настроения, которое не оставляло меня все это утро...

Мост кончился. Я подходил к Арлингтонскому кладбищу.

Здесь народу было уже

больше. Оживленно переговариваясь, выбирались из автобусов иностранные туристы, шумно, целыми семьями, шли американцы, приехавшие, видно, сюда из других штатов. И все они наверняка устремлялись туда же, куда направлялся и я, — к могиле Джона Кеннеди. Это имя витало в воздухе.

Я свернул на боковую, пустынную аллею. Остались в стороне и постепенно затихли голоса туристов. Теперь вокруг царил тишина, такая глубокая и безмятежная, что даже шорох листьев под моими ногами не мог нарушить ее. И в этой тишине здесь, на кладбище, невольно думалось о смысле человеческой жизни, о смерти и бессмертии, о невидимых нитях, которые связывают тех, кто жил до нас, с нами, сегодняшними, и с теми, кому суждено прийти после нас...

Какой-то негромкий звук, слабое шуршанье отвлекло меня от этих мыслей. Впереди, среди деревьев, я увидел одинокую фигуру — седая, худенькая женщина, склонившись к аккуратному надгробию с невысоким белым столбиком, то ли украшала его цветами, то ли убирала высохшие листья. Она была так сосредоточенна, так погружена в свои заботы, что не заметила меня.

Такие же чистенькие надгробия, такие же аккуратные белые столбики возвышались по обеим сторонам аллеи, терялись в глубине, среди деревьев. Я наклонился к одному из этих столбиков и на табличке разобрал надпись: имя, фамилия, дата рождения, дата смерти. Всего двадцать два года уместились между двумя этими датами. И чуть пониже — строчка: убит во Вьетнаме. Я шагнул к соседнему надгробию и снова прочел: убит во Вьетнаме. Взглянул еще на один столбик, и опять: убит во Вьетнаме.

И еще. И еще. Убит во Вьетнаме... Убит во Вьетнаме...

Так вот кто покоился здесь.

Здесь, под этими одинаковыми надгробиями, лежали американские солдаты, бесславно погибшие на земле Вьетнама. Тут лежали те, кому внушили, будто они призваны защитить цивилизацию от «коммунистической угрозы». Защитить с помощью бомб, напалма и отравляющих веществ. Защитить, убивая детей и женщин.

И сразу, мгновенно рухнула, исчезла, рассеялась иллюзия покоя и безмятежности. Какой там покой, какая умиротворенность! Запахом войны и тлена пахло вдруг на меня.

За что, во имя чего отдали жизнь эти парни? Что, кроме огня, насилия, смерти, принесли они на вьетнамскую землю?

Говорят: «Мертвые сраму не имут». Да, мертвые не ведают вины, не знают позора. Но живые, живые-то должны знать! Должны помнить!

Вокруг по-прежнему стояла глубокая тишина, и желтые листья все так же задумчиво и бесшумно опускались на землю, но меня вдруг потянуло быстрее уйти, выбраться отсюда, из этого лабиринта ровных белых столбиков, не отличимых друг от друга надгробий. Однако я продолжал стоять перед этими столбиками, продолжал вглядываться в них...

А мысленно я видел иные могилы, иное кладбище. То кладбище открыто всем океанским ветрам, оно раскинулось высоко над городом, на сопке. Там, на морском кладбище во Владивостоке, спят вечным сном советские моряки Николай Рыбачук и Юрий Зотов. Два этих человека, наверно, даже не знали друг друга и в море выходили на разных судах, но теперь здесь лежат почти рядом, ибо разделили одну и ту же судьбу. «Убит во время бом-

бежки теплохода американскими агрессорами в порту Камфа», — начертано на красных пирамидках, увенчанных звездочками. Не щадя своей жизни, эти люди спешили на помощь истекавшему кровью вьетнамскому народу, героически отражавшему натиск жестокого и сильного врага, — везли медикаменты, продукты, одежду.

Да, могилы могилам рознь. Одни молчаливо свидетельствуют о позоре и бесчестии, другие хранят память о мужестве, самоотверженности и человеческом благородстве.

Вот о чем думал я в те минуты, стоя на пустынной аллее Арлингтонского кладбища.

Мимо меня неслышно, словно бы невесомо, прошла седая женщина — та самая, которую я только что видел возле одной из могил. К кому приходила, она, о ком вспоминала, о ком плакала?.. О муже? О брате? О сыне?..

...Могилу Джона Кеннеди я нашел без особого труда — к ней, и правда, стекались люди с разных сторон. Щелкали затворами фотоаппаратов туристы, вели свою отшлифованную скороговорку гиды. Маленький мальчишка, привычно перекатывая во рту жевательную резинку, по складам разбирал строки, выбитые на каменной полированной плите. Это были слова, произнесенные Джоном Кеннеди в одной из его речей. Я не ручаюсь за дословную точность перевода, но смысл их сразу запал мне в душу, остался в памяти:

«Не спрашивай у Америки, что она сделала для тебя, спроси себя — что ты сделал для Америки? Не спрашивай у мира, что он сделал для тебя, спроси себя — что ты сделал для мира?»

Хорошие, справедливые слова. Потом я не раз мысленно повторял их, вслушиваясь в их

звучание. Они звучали торжественно, как стихи. Что ж, американским президентам нельзя отказать в умении произносить речи. Если бы только их дела не расходились с речами. Если бы только те, кому сегодня принадлежит власть в Вашингтоне, действительно следовали бы словам, выбитым на могиле Кеннеди, если бы...

Мир до сих пор не получил ответа — кто же был истинным убийцей президента. Тайна убийства Джона Кеннеди, тайна заговора до сих пор не раскрыта. По одной из версий нити заговора тянутся к кубинским контрреволюционерам, к мафии, к самым оголтело реакционным кругам страны. По этой версии Джон Кеннеди заплатил собственной жизнью за то, что недостаточно решительно поддержал тех, кто стремился силой задушить кубинскую революцию, свергнуть народное правительство. Впрочем, повторяю, это лишь одна из версий. Всякий раз, едва только предпринималась попытка серьезного расследования, гибли свидетели, внезапно умирали или исчезали люди, хоть что-то знавшие о том, как готовилось покушение на президента. Брат покойного, сенатор Роберт Кеннеди, баллотируясь в президенты, заявил однажды, что если он займет президентское кресло, то непременно даст указание докопаться до истины, начать новое следствие. Роберт Кеннеди не смог сдержать свое обещание. Он обрел последнее пристанище здесь же, на Арлингтонском кладбище, неподалеку от брата, так же, как и он, сраженный пулей убийцы. И в тот день, о котором я рассказываю, я видел свежие цветы на его могиле...

Кровь, жестокость, насилие...

Мемориал Линкольна, могила Кеннеди...

Да что же это за страна та-

кая, думал я, которая с такой легкостью позволяет убивать своих президентов, а потом воздаст им почести? Да что же это за страна такая, которая с такой готовностью посылает своих сыновей сражаться и проливать кровь за продажных диктаторов, чтобы потом они, ее сыновья, возвращались сюда, на Арлингтонское кладбище, под звуки гимна, прославляющего Америку, в гробах, укрытых звездно-полосатым флагом?.. Что это за страна такая...

Я оглянулся на тех, кто стоял сейчас рядом со мной, и — показалось мне — не увидел на их лицах ничего, кроме торопливого туристского любопытства. По-прежнему щелкали фотоаппараты...

Я повернулся и пошел прочь, к выходу, назад к Арлингтонскому мосту, протянувшись через Потомак. Справа вдали серой громадиной виднелось здание Пентагона. Теперь уже в душе моей не оставалось и следа того настроения, которое я испытал утром. Одиночество уже не радовало, а давило гнетущим ощущением собственной затерянности. Уже без воодушевления я думал о том пути, который мне еще предстояло проделать. К тому же я проголодался, да и усталость давала себя знать.

Я подошел к одному из передвижных лотков, чтобы купить «хэт дог», или, говоря по-русски, горячую сосиску с булкой. И в этот момент кто-то весело окликнул меня. Я обернулся: автобус с табличкой «soviet writers» был тут как тут! Какой желанной и радостной показалась мне эта встреча! Словно и правда, после долгой разлуки, после длительного путешествия вернулся я к родным берегам!..

Кажется, по всем законам жанра тут бы и следовало поставить точку. Однако жизнь

диктует свои сюжеты — события того дня еще не закончились.

Оказывается, нас уже ждали в «Обществе Поля Робсона», в обществе друзей нашей страны. Когда мы приехали туда, зал, спускавшийся амфитеатром к небольшой сцене, был уже заполнен. Здесь собрались и чернокожие граждане Соединенных Штатов, и белые, и выходцы из Латинской Америки; некоторые пришли на встречу с нами целыми семьями, с детьми — молодые и старые, мужчины и женщины. Никогда не забуду той атмосферы глубокого расположения и интереса к нашей стране, чистосердечности и товарищества, которая царилла в этом зале! Как чутко отзывался зал на каждое слово моих товарищей — писателей из Москвы и Ленинграда, каким шквалом аплодисментов ответил председательствовавшему на этой встрече Александру Крону, когда тот представил московского прозаика, Героя Советского Союза, в прошлом отважного разведчика, взявшего в плен не один десяток вражеских языков, — Владимира Карпова! Так могут аплодировать лишь те, у кого крепкие, рабочие руки и отзывчивые сердца. А с каким затаенным вниманием слушали собравшиеся рассказ Елены Вечтомовой о женщинах блокадного Ленинграда, как оживленно реагировали на стихи, посвященные Полю Робсону и прочитанные советским поэтом Джемсом Паттерсоном:

Ваш звучный голос
полноты безбрежной
Способен людям
западать в сердца.
То он суровый,
то такой же нежный,
Каким был голос
моего отца.

Да, отец Джемса Паттерсона был американским негром.

В 1932 году он приехал в Советский Союз и навсегда остался в нашей стране, принял советское подданство. Во время войны он погиб. И теперь, на вашингтонской встрече, в зале нашлись то ли дальние родственники, то ли знакомые дальних родственников Паттерсона. Были объятья, радостные возгласы, растроганные улыбки...

Ораторы сменяли друг друга, страстно, взволнованно, темпераментно они говорили о силе дружбы, о ненависти к войне, о стремлении к миру. Звучала английская и русская речь, песни протеста и строки стихов разносились над залом. Гневом наливались голоса тех, кто протестовал против нейтронной бомбы, против военных приготовлений, затеваемых современными варварами, против ядерной стратегии вашингтонских политиков...

Встреча была в самом разгаре, когда вдруг на сцене, рядом с очередным оратором, появился крошечный чернокожий мальчонка. Видно, ему надоело томиться на коленях у матери, и он, отважно прошествовав по залу, взобрался на сцену, привлеченный сверканьем никелированной штанги, на которой крепился микрофон. С радостной доверчивостью он потянулся ручонками к микрофону, и зал ответил ему веселым одобрением, аплодисментами и приветственными, подбадривающими возгласами. Кого напоминал этот малыш? Ну конечно же, он был похож на запомнившегося всем нам негритенка из кинофильма «Цирк», которого более сорока лет тому назад так блестяще «сыграл» маленький Джемс Паттерсон.

Кто-то подхватил мальчонку на руки, обнял, прижал к себе...

И каким символичным, исполненным глубокого смысла показалось мне тогда это нечаянное появление ребенка на

сцене, на той самой сцене, откуда произносились гневные антивоенные речи, звучали энергичные призывы к миру! Словно он поднялся сюда как посланец от всех детей Земли, чтобы обратиться к нам, взрослым, обратиться с надеждой и доверчивостью, с верой в разумное всемогущество взрослых.

Так и остался у меня в памяти этот курчавый, чернокожий мальчишка, радостно и открыто, с веселым детским лукавством вглядывающийся в лица взрослых...

Теперь, за годы, что прошли с того дня, он, конечно, уже подрос, стал старше, теперь ему, я думаю, примерно столько же лет, сколько его соотечественнице, американской школьнице Саманте Смит, на чье тревожное письмо обстоятельно и серьезно ответил Юрий Владимирович Андропов. Наверно, этого мальчишку сегодня тревожат те же вопросы, что и Саманту Смит, что и многих детей мира. И очень возможно, он так же, как и Саманта, прочел простые и убедительные слова, написанные Юрием Владимировичем Андроповым:

«...мы в Советском Союзе стараемся делать и делаем все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы

вообще не было войны на земле...

...Мы хотим мира — нам есть чем заняться: выращивать хлеб, строить и изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта».

Но об этом я думаю уже теперь, сегодня. А тогда, в тот день, я просто записал на магнитофонную пленку голос этого мальчонки, вплетающийся в голоса взрослых. И он, его голос, хранится теперь у меня как самая дорогая память. Кстати, записан он на ту самую пленку, перезаряжая которую, я опоздал к нашему туристскому автобусу. Так что все-таки магнитофон мне пригодился...

...Авантюристическая политика администрации США ставит мир на грань катастрофы. Нет сейчас важнее задачи, чем предотвратить ядерную войну, спасти жизнь на планете. Люди мира не хотят молчать. Они выходят на демонстрации протеста, и голос их звучит решительно и страстно. Советский народ, все прогрессивное человечество гневно осуждают курс правительства США на развязывание агрессии. Мы верим: свет побеждает мрак.

ОТ АВТОРА

Мы живем в очень тревожное время. Никогда еще в истории не стоял так остро вопрос о судьбах цивилизации, человечества, самой жизни на нашей планете. Империализм объединил в «крестовом походе» против мира социализма все свои антигуманные силы — от военно-промышленного комплекса США до террористов и неонацистов, продолжающих мечтать о «реванше»...

Об «ОТРАГе» я впервые узнал в середине 70-х годов из сообщений западноевропейских газет. Сообщения были противоречивы и скупы. Авторы явно не договаривали или... им не давали возможности договорить? Посудите сами: сравнительно небольшая компания «ОТРАГ», что расшифровывается как «Орбиталь транспорт унд ракетен актиенгезелльшафт» с резиденцией в маленьком городке Ной-Изенбург в ФРГ и с капиталом при основании всего в один миллион марок арендует в Африке — в бассейне реки Конго — территорию в сто тысяч квадратных километров. Эта территория огорожена, охраняется, посторонних туда не допускают, а за аренду этой территории компания ежегодно выплачивает правительству государства Заир 50 миллионов долларов. Вообще-то компания «ОТРАГа» вроде бы ничем дурным и не занимается... Если верить сообщениям некоторых журналистов, всего-навсего строит и испытывает ракеты «для метеорологических наблюдений». Правда, несколько журналистов погибли при неясных обстоятельствах. Но, может быть, и этому удивляться не следует: давно известно, что профессия журналиста одна из опаснейших на свете.

Потом появился большой материал в «Литературной газете». Было это уже в конце 1978 года. Ошеломляющий материал!.. Приоткрывался звериный оскал неонацизма «ОТРАГа».

Я решил написать на эту тему научно-фантастический рассказ-предупреждение. Однако вскоре выяснилось, что жанр рассказа не может вместить всего материала. Его становилось все больше. Мне и самому удалось собрать кое-что новое во время зарубежных поездок. Писать повесть?.. Для такой повести требовался особый герой... Какой, я еще и сам точно не представлял. Все решилось неожиданно просто, когда во время поездки по США я случайно познакомился с человеком, который... Ну, словом, я встретил того, в ком разглядел ряд черт и качеств моего главного героя: это был обаятельнейший человек, журналист прогрессивных взглядов... Так у меня появился Стив Роулинг — человек отважный и честный, ненавидящий войну, немного авантюристических наклонностей. Его-то я и отправил на борьбу с «ОТРАГом».

Пока шла работа над повестью, тучи над нашей планетой продолжали сгущаться. Земля уже прогибалась под тяжестью небывалого количества вооружения. Империализм с тупым бессмысленным сталкивает мир на грань термоядерной катастрофы. Материалу все прибывало. В меняющихся условиях изменялись задачи и цели моих героев... Рамки повести становились слишком узкими. Что было делать? Писать роман? Но автор стремился выразить свое отношение к тому, что происходит в нашем беспокойном мире, уже сейчас, в разгар тревожных событий. Так родилось то, что автор решил отдать на суд читателей...

ЦЕЗАРЬ,

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

НАСЛЕДНИК ЦЕЗАРЯ

Переговорный динамик на столе, молчавший со среды, неожиданно ожил. Послышалось знакомое покашливание.

— Стив?

— Я...

— Загляни-ка ко мне.

— Сейчас?

— Ну, если занят, можешь попозже... Но сегодня.

Стив бросил взгляд на часы. Четырнадцать десять. До конца работы еще два часа. «Хочет дать возможность собраться с мыслями... и с духом?.. Так сказать, проявляет гуманность... Проклятый лицемер! Тянет третий день... Хотя и так все ясно... С того момента, как шеф наложил вето на его материал... Стая подоилов! Не к чему тянуть эту канитель».

— Зайду сейчас?..

Получилось что-то среднее между вопросом и просьбой. Стив стиснул зубы. Не следовало торопиться... Старик расценит это как признак слабости. А он не должен казаться слабым, когда его собираются выгнать.

Из динамика послышался неясный шелест. В кабинете у Старика кто-то есть, кто-то, с кем он сейчас советуется. Может быть сам шеф... Стив склонился к селектору. Ничего не разобрать — только шелест. Эта аппаратура, как и все в редакции «Калифорния таймс», абсолютно надежна. Обеспечивает прямую связь Главного с его армией, но не подслушивание.

Динамик снова кашлянул:

— Жду через десять минут, Стив.

— О'кей!

Итак, через десять минут он — Стив Роулинг, отдавший десять лет жизни и труда «Калифорния таймс», — услышит, что его услуги владельцам газеты больше не нужны... И все только потому, что в критический момент его подвело профессиональное чутье. Азарт преследования! Хотелось проследить нить до конца. А она завела слишком далеко... «ОТРАГ» оказался не

по зубам Стиву Роулингу. А точнее — боссы из военно-промышленного комплекса не заинтересованы в огласке такой вонючей сенсации с местом действия в Африке. Это может означать лишь одно — нить тянется и сюда, в Штаты. Свобода печати, черт бы вас всех побрал!

Стив неторопливо поднялся. Отодвинул листки бумаги, на которых последние дни рисовал замысловатые лабиринты. Придав лицу возможно более безразличное выражение, вышел из своей застекленной клетки в узкий коридор. Из соседних стеклянных ячеек на него глядело множество глаз. Он физически ощущал эти взгляды. В них были любопытство, настороженность, безразличие, злорадство. Только Мэй выглядела встревоженной. Она испытующе смотрела на Стива и, когда он, проходя мимо, подмигнул ей, печально улыбнулась в ответ и подняла вверх большой палец, как всегда запачканный чернилами — у Мэй постоянно подтекала авторучка.

Стив, насвистывая, выбрался из стеклянного лабиринта огромного зала, в котором под неусыпным оком Главного корпели над очередными репортажами сотни сотрудников «Калифорния таймс». Пока еще Стив был одним из них. Он на мгновение задержался перед ступеньками, ведущими в кабинет Старика. Когда через несколько минут он спустится по этим ступенькам... Он грустно усмехнулся: каждый, кто сидит сейчас в огромном, разделенном на стеклянные клетки зале, рано или поздно должен будет пройти через то, что сейчас предстоит ему. Он резко распахнул дверь.

Секретарша Главного — мисс Перш — сверкнула из-за своего стола сиреневыми стеклами больших очков и, скривив ярко накрашенные губы не то гримасой, не то улыбкой, молча кивнула в сторону двери, ведущей в кабинет Старика.

Через десять минут Стив вышел обратно. Он снова задержался на ступеньках, ведущих в зал. Теперь на Стива были устремлены сотни глаз из всех стеклянных клеток, расположенных внизу. Однако его худое, темное от загара лицо оставалось непроницаемым. Из-за его плеча поблескивали сиреневые очки мисс Перш. Секретарша что-то говорила, и Стив кивал, не оборачиваясь. Потом он неторопливо спустился в зал и, насвистывая, направился к своему месту. Проходя мимо клетки Мэй, он опять подмигнул девушке, и в ответ на ее тревожный вопросительный взгляд процедил сквозь зубы, но так, чтобы услышали в соседних ячейках:

— Завтра лечу в Акапулько. Ответственное задание...

И по притихшему залу пронеслось, как вздох:

— Остается... Акапулько... Ответственное задание... Остается... Ответственное задание...

Мэй торопливо выбралась из своей клетки. Взяла Стива под руку, шепнула:

— Чего они хотят? Что ты должен сделать?

— Невозможное, дорогая... Взять интервью у самого Цезаря Фигуранкайна.

- Но, Стив... Я слышала, он никому не дает интервью.
- Вот именно. Поэтому мне и поручили взять его.
- Что же ты будешь делать?
- Есть одна мысль... Слушай, Мэй, ты могла бы мне помочь. У тебя много знакомых в Голливуде...
- И что?
- Раздобудь на одной из студий кардинальское облачение.
- Кардинальское облачение?! Но когда?
- Сегодня вечером, конечно. Утром я улетаю.

Поднявшись по трапу самолета, Стив помахал Мэй и, наклонив голову, прошел в салон. Место было у окна, и, уже устроившись в кресле, он все еще видел светлый плащ Мэй у невысокого барьера, преграждающего выход на летное поле. Потом самолет вырулил на старт, и через несколько минут дымное марево Лос-Анджелеса, вместе с островами небоскребов, пальмами, редакцией «Калифорния таймс», Мэй и тревогами последних дней, растаяло где-то позади. Справа поблескивал в лучах низкого утреннего солнца серовато-синий простор Тихого океана. Слева в разрывах облаков проплывали желтоватые нагорья Калифорнии, исчерченные нитями дорог. Впереди была Мексика, где Стиву предстояло решать нелегкую задачу.

Решить ее он должен так, чтобы и шеф и Старик поняли раз и навсегда, какого человека они могли потерять. А уж после этого можно будет выдвинуть свои требования. И тогда посмотрим...

Но прежде всего следовало выспаться. Посадка в Мехико через три часа. Времени у него достаточно. В Акапулько он должен прилететь со свежей головой. Откинув спинку кресла, Стив почти мгновенно заснул. Когда он проснулся, самолет уже шел на посадку над самым центром огромного города. Приглядевшись, Стив различил зеленую длинную ленту Пасео де ла Реформа, пересекавшую по диагонали город, памятник Независимости, беломраморный Дворец Искусств, громаду кафедрального собора у широкой прямоугольной площади Соколо, где по преданию некогда находился Дворец Монтесумы... Мозаика крыш мелькала все ближе. Через несколько минут самолет приземлился в аэропорту Мехико. Теперь оставался час полета до Акапулько.

Стив не подозревал, что, пока он спал в самолете, в мире произошли события, последствия которых никто не рискнул бы теперь прогнозировать. События, водоворот которых властно увлечет и его — Стива Роулинга. События, которые заставят разорвать привычные связи, оторвут его от Мэй, поставят перед необходимостью сделать не один решающий выбор. В те самые утренние часы, когда Стив так сладко спал в самолете, в Далласе прозвучали роковые выстрелы, и

Америка потеряла своего очередного президента. Радиоволны уже разносили ошеломляющее известие по планете, захлебываясь, стучали телетайпы, но в аэропорту Мехико еще никто об этом не знал.

Присев в тени под ярким полосатым тентом, Стив потягивал сквозь соломинку ледяную кока-колу и ждал посадки на Акапулько. Посадку почему-то не объявляли. Вскоре по первым репликам служащих аэропорта Стив догадался: что-то случилось. И, по-видимому, что-то серьезное...

Стив попытался спросить одного, другого... Служащие аэропорта отмалчивались, однако Стив мог разговорить кого угодно. Через несколько минут молодой мексиканский летчик объяснил Стиву, что на трассе Мехико—Акапулько потерпел аварию частный самолет, стартовавший отсюда полчаса назад...

Когда самолет Стива приземлился в Акапулько, в аэропорту все были заняты обсуждением сенсационного убийства американского президента. Никого из служащих на месте не было. Багаж пришлось дожидаться бесконечно долго.

Стив рассеянно бродил по полупустынному залу, потом присел возле закрытого киоска с сувенирами. Невдалеке какой-то лысый круглоголовый толстяк в костюме из дорогого серого твида пытался дозвониться по телефону-автомату в Нью-Йорк. Он нервничал, бранился в трубку и снова и снова требовал соединить его с мистером Пэнки. Ничего не добившись, он в изнеможении присел рядом со Стивом и, поставив на пол желтый кожаный портфель, принялся вытирать шею и побагровевшее лицо клетчатым носовым платком.

Глянув подозрительно на Стива, он что-то спросил у него. Стив не расслышал вопроса и отрицательно покачал головой. Толстяк повторил вопрос по-немецки. Оказывается, его интересовало, есть ли в этом проклятом аэропорту какой-нибудь порядочный телефон, по которому можно нормально дозвониться до Нью-Йорка. Стив понятия не имел, где искать такой телефон, а вдаваться в разговор со словоохотливым собеседником ему сейчас совсем не хотелось, поэтому он пожал плечами и, буркнув по-испански: «Не понимаю», отвернулся.

Толстяк окинул его презрительным взглядом, пробормотал что-то относительно «мексиканских ослов» и снова устремился к телефону, не забыв прихватить с собой портфель.

Набрав длинную серию цифр, толстяк опять принялся вызывать мистера Пэнки. Стив прикрыл глаза ладонью, стараясь не слушать назойливый монолог. Багажа все не было видно, и пассажиры, прилетевшие вместе со Стивом, видимо, потеряв терпение, разбрелись по кафе и барам. Зал совсем опустел. В нем оставались лишь толстяк в сером костюме, не отступавший от телефона, и Стив на скамейке у киоска. Наконец после многих попыток толстяку удалось соединиться с мистером Пэнки. Удостоверившись, что на конце провода находился именно тот, кто ему был нужен, толстяк окинул тре-

вожным взглядом опустевший зал и, понизив немного голос, снова перешел на немецкий язык. Этот переход удивил Стива, и он начал невольно прислушиваться к разговору.

— Да-да, это я, Крукс, — твердил круглоголовый. — Феликс Крукс. Я должен был встретить его здесь... Вы поняли, мистер Пэнки? Да, Крукс, говорю я, черт побери... Из Акапулько, откуда еще. Нет, конечно, не встретил... Так вы еще ничего не знаете, Пэнки!.. О, боже!.. Да я совсем не об этом... Ну при чем тут Кеннеди!.. Пэнки, поймите вы, черт побери, произошла вещь гораздо более серьезная... Более серьезная... Более серьезная — говорю. Подождите, Пэнки... Нет, нет, нет... Не прилетел и никогда больше никуда не прилетит. Разбился... Разбился полтора часа назад... Все погибли, все... Вы понимаете, что это значит?.. О, боже! Я говорю не о Кеннеди... Фигуранкайн разбился... Цезарь Фигуранкайн, вы меня поняли наконец? Ну вот... Я тоже не знаю... То, что от него осталось, привезут в Акапулько... Сегодня вечером, вероятно... Или завтра... Это уже неважно, Пэнки. Нет, его завещание у меня в конторе... Его сын?.. Гм, год назад был в Маниле. Не сообщать никому?.. Да... Но через несколько часов и так все станет известно... Хорошо... «ОТРАГ» — тоже... Буду ждать... Нет... Звоню из аэропорта... Нет... Никого нет... Один... какой-то олух. Ничего не понимает ни по-английски, ни по-немецки...

Мысли Стива закрутились на ускоренных оборотах. «С интервью не получилось... Опоздал. Надо сейчас же позвонить Старикку. Гибель Фигуранкайна — сенсация номер один. Да еще такое совпадение! Случайно ли оно? Этот Пэнки из Нью-Йорка хотел бы оттянуть огласку. Почему? А Крукс упомянул про „ОТРАГ“... Неужели нить тянется и к этой катастрофе? Кажется, мне снова „повезло“... А если попробовать разговорить Крукса? Он довольно болтлив. К тому же часто упоминал бога и черта: вероятно, католик... Кто знает, не окажется ли интервью с Круксом еще более занимательным, чем с самим Фигуранкайном... Завещание Фигуранкайна у Крукса, существует какой-то загадочный наследник. Нет, определенно надо попробовать... Есть и повод: начну с соболезнования по поводу кончины Кеннеди. По-испански, конечно. И если клюнет...»

Клюнуло... Стив потом сам не раз удивлялся своему «везению»... Крукс надежно заглотнул «крючок», узнав, что «испанский дворянин Хорхе де Эспиноза» встречают самолет, на котором должен прилететь его брат — кардинал Карлос де Эспиноза. Крукс очень торопился, и они условились встретиться вечером в отеле «Мар верде», где у Крукса был резервирован номер.

Еще ночью, после «исповеди» Крукса, Стив отстучал на телетайпе очередную пару сенсаций для «Калифорния таймс»,

а утром получил телекс от Старика с разрешением на поездку в Манилу «для поисков сына нашего общего друга».

Поиски в Маниле оказались безуспешными.

Несколько лет назад Стиву довелось провести в филиппинской столице почти год в качестве корреспондента «Калифорния таймс». От того времени у него остались знакомства и среди манильских бизнесменов, и в китайских кварталах, населенных мелкими лавочниками, рыбаками, контрабандистами и прочим сбродом. Однако о Фигуранкайне-младшем никто из знакомых Стива не слышал. А сеньор Сутрос — хозяин отеля в портовой части города, где Стив жил некоторое время в прошлый приезд и остановился сейчас, — высказал предположение, что, если молодой Фигуранкайн и был в Маниле, то очень непродолжительное время.

— Богатый американец с такой фамилией не остался бы незамеченным, — с улыбкой говорил маленький толстяк — сеньор Сутрос, хитро щуря темные глазки. — Кто-нибудь обязательно помнил бы его, если бы он прожил тут длительное время.

— Не знаю, насколько он богат, — задумчиво заметил Стив.

— О, сеньор Роулинг, — всплеснул пухлыми ручками Сутрос, — американцы, которые приезжают к нам в Манилу, или богачи, или военные.

— Я, например, ни то, ни другое.

— Вы — кое-что иное, сеньор Роулинг: вы — исключение, если угодно. Вы журналист, человек особых интересов. Многие здесь считают вас своим другом, потому что вы никогда не писали плохо ни о нашей стране, ни о наших людях. Вы всегда говорили правильные слова и писали то, что говорили... И если кто-нибудь, даже и через двадцать лет, придет в Манилу и станет расспрашивать о вас, очень многие скажут, что знали вас, расскажут, что вы тут делали, какой вы человек... А ведь тот, кого вы разыскиваете, жил тут менее года назад. Можно, конечно, навести справки в вашем посольстве.

— Едва ли он зарегистрировал свое пребывание здесь, — возразил Стив, — но в конце концов попробовать можно. Вы не могли бы оказать мне и эту услугу?

— А вы сами? — хитро прищурился сеньор Сутрос.

— Лучше сделать это неофициально. Мне не хотелось бы привлекать внимание наших чиновников к тому обстоятельству, что я разыскиваю Фигуранкайна-младшего. В посольстве меня многие знают как журналиста. А вы могли бы, например, сказать, что он жил у вас и не оплатил какой-нибудь счет.

— Уж вы не учите меня, сеньор Роулинг, — замахал руками маленький толстяк. — Найду, что сказать. О'кей...

Узнаю, раз это важно для вас... А этот сенЬор, которого вы разыскиваете, — добавил он, испытующе поглядывая на Стива, — не родственник ли он банкира Фигуранкайна?

— Значит, фамилия Фигуранкайна вам все-таки знакома, сенЬор Сутрос? — усмехнулся Стив.

— Ну, эта фамилия достаточно известна в деловых кругах, сенЬор, — очень серьезно ответил толстяк.

— А с ним самим вам не приходилось встречаться?

— Ну, что вы! Я слишком маленький человек... Кроме того, я слышал, что этот господин избегает людей, даже своих родственников. Видеться с ним имеют возможность очень немногие.

— Имели возможность...

— Что вы говорите!.. Значит, он?..

— Да... Несколько дней назад.

— В Маниле еще ничего не известно. Это очень важная новость, сенЬор Роулинг, очень. Не скрою, вы оказываете мне большую услугу, сообщая об этом. Очень большую. Мне и кое-кому еще... Тут... особый круг интересов... Простите меня, я вынужден расстаться с вами. Вечером извещу, что удалось выяснить в посольстве.

— Я еще не ответил на ваш вопрос, сенЬор Сутрос, — сказал Стив. — Человек, которого я разыскиваю, — родной сын банкира Цезаря Фигуранкайна. Может быть, даже единственный сын. Судя по всему, ему сейчас угрожает серьезная опасность. Поэтому я хотел бы разыскать его.

— Хорошо, что вы это сказали, — кивнул толстяк. — Я... Словом, я сделаю все, что в моих силах, сенЬор Роулинг.

Прошло еще несколько дней. Каждое утро Стив навещал кабинет хозяина отеля, расположенный в цокольном этаже здания. СенЬор Сутрос встречал его радушно, угощал крепким, необыкновенно ароматным кофе, говорил о погоде, о биржевых новостях, а в заключение, когда они оставались вдвоем, отрицательно качал головой и лаконично пояснял:

— Пока ничего... Надо еще подождать...

В одну из таких встреч, уже прощаясь, Сутрос вдруг заинтересовался, владеет ли Стив приемами борьбы.

— Немного, — ответил удивленный Стив. — А это может понадобиться?

— В вашем положении не исключено, — улыбнулся толстяк. — Впрочем, это больше будет зависеть от вас...

— Я давно перестал тренироваться регулярно, — пожал плечами Стив.

— И напрасно.

— Проблема времени, сенЬор Сутрос.

— Но сейчас время у вас есть. Могу порекомендовать неплохого тренера.

— Кто такой?

— Тео Йонг Хаук — сингапурец. Один из немногих, кто еще владеет приемами сан чин-до — древнекитайского воинского искусства. Когда-то его создали буддийские монахи, добиваясь свержения власти маньчжуров. Потом оно стало своего рода школой самосовершенствования: человек с помощью этого искусства познает неведомые ему возможности своего организма, своих мышц, нервной системы.

— И что может ваш Тео?

— Многое, — усмехнулся Сутрос. — Может, например, стоя на двух коробках яиц, разрубить ударом руки стебель сахарного тростника, подвешенный на двух бумажных полосках. Разумеется, и бумажные подвески и яйца в коробках останутся в полной сохранности.

— Чудеса какие-то.

— Только тренировка. Он говорит, что научился балансировать, стоя босыми ногами на яйцах, после года тренировок.

— К сожалению, не располагаю годом.

— Владение многими приемами сан чин-до требует меньшего времени.

— Сколько же он берет за сеанс?

— Мои друзья — друзья Тео, — расплылся в улыбке Сутрос. — С друзьями он не требует ничего, кроме благодарности.

— И если мне предстоит пробыть тут еще с неделю... — начал Стив.

— Смею смиренно просить вас воспользоваться уроками Тео, — закончил Сутрос.

— Как разыскать его?

— Он разыщет вас сам сегодня после полудня.

— О'кей.

— Кстати, сеньор Роулинг, — сказал Сутрос, пожимая на прощанье руку Стиву, — у нас лишь сегодня утром стало официально известно о смерти Фигуранкайна-старшего. Кое для кого на Филиппинах последствия окажутся более серьезными, чем я вначале предполагал.

— Но вы-то успели принять необходимые меры?

Сутрос низко поклонился по-японски.

— Только благодаря вам, дорогой сеньор Роулинг.

Тео Йонг Хаук действительно разыскал Стива в тот же день. После обеда Стив сидел в баре за рюмкой коньяку, когда к нему подошел невысокий молодой китаец с очень правильными чертами смуглого удлиненного лица. Ни белый европейский костюм, ни хрупкая фигура не выдавали в нем мага древнекитайского искусства.

Они поговорили немного, и Тео тотчас же пригласил Стива на первую тренировку.

— Как, сразу после обеда? — изумился Стив.

— Это не помешает, — улыбнулся Тео, — но вам на некоторое время придется воздержаться от девочек, сигар и вот от этого, — он указал на рюмку с недопитым коньяком.

— О'кей, — согласился Стив, поднимаясь из-за стола.

Пребывание в Маниле затягивалось, и теперь Стив немалую часть свободного времени посвящал искусству сан-чин-до. Тео оказался не только феноменальным мастером сан-чин-до, но и великолепным инструктором, и, хотя у Стива после первых тренировок болели все мускулы, он вскоре оценил, какой удивительный подарок преподнес ему Сутрос.

Уроки проходили в небольшом спортивном зале в цокольном этаже отеля по соседству с открытым бассейном. После каждой тренировки Стив имел возможность расслабиться в теплой морской воде бассейна. Каждое занятие начиналось с повторения пройденного, потом Тео показывал новый прием, отрабатывали его по элементам и целиком, потом следовали упражнения для разных групп мышц, которые Тео называл гаммами, в заключение несколько минут боевых схваток. Эти минуты были самыми интересными и самыми трудными, потому что тут Тео демонстрировал все свое необыкновенное искусство и подчас не щадил Стива.

Одна из тренировок закончилась тем, что Стив потерял сознание. Удар Тео, который Стив не успел отразить, не показался ему слишком сильным, тем не менее все вокруг стремительно закружилось и утонуло в красноватой мгле. Когда Стив пришел в себя, оказалось, что он лежит на топчане в дальнем углу зала, а Тео деликатно массирует ему виски, шею и грудь.

— Тысячу раз прошу извинить меня, — сказал Тео, помогая Стиву подняться, — но вы допустили большую оплошность. Я предупреждал: эту часть шеи нельзя открывать. Удар может быть смертельным. Завтра мы пройдем это по элементам.

— Сколько лет вы занимаетесь этим, Тео, — спросил Стив, зажмуриваясь и трясая головой, чтобы избавиться от головокружения.

— Всю жизнь.

— А сколько же вам лет?

— Еще не очень много. Пятьдесят три.

— Сколько? — переспросил Стив, широко раскрывая глаза.

Тео повторил.

— Невероятно... Я не дал бы вам и половины.

— Это сан-чин-до, — скромно ответил Тео. — Если будете регулярно тренироваться, останетесь таким, как сейчас, до восьмидесяти лет.

— То есть законсервируюсь на тридцати трех? — уточнил Стив, снова зажмуриваясь, потому что зал вместе с Тео упорно не хотел приостановить вращение.

— Около тридцати, — кивнул Тео. — Но тренировки должны быть регулярными. Дважды в день. Утром и вечером.

— Сеньор Сутрос говорил мне, — сказал Стив, потирая шею, — что вы можете ребром ладони перерубить стебель сахарного тростника.

— Даже стебель зеленого бамбука.

— Какой толщины?

— Четыре-пять сантиметров.

— Невероятно...

— Хотите покажу?

— Хотел бы посмотреть.

Тео вышел и возвратился через несколько минут с двухметровым шестом зеленого бамбука, двумя стаканами и бутылкой кока-колы.

— Достал только этот, — сказал он расстроено, — толщина поменьше четырех сантиметров. Но мы изменим условия.

Он принес два небольших столика, установил их в метре один от другого, а на края столиков поставил стаканы. Затем наполнил стаканы кока-колой и протянул бамбук Стиву:

— Попробуйте сломать.

Стив попробовал, но шест только пружинил. Тео кивнул, осторожно положил шест на кромки стаканов, резко выдохнул воздух и с оглушительным криком разрубил бамбук ребром ладони на два равных куска. Стаканы даже не сдвинулись с места, и их содержимое не выплеснулось.

— Вот и все, — спокойно объявил Тео, протягивая один стакан Стиву, а другой поднося к губам.

— У меня даже головокружение прошло, — сказал Стив, залпом выпивая кока-колу.

— Пустяки... Стебель тонкий.

Они измерили его. Толщина оказалась три с половиной сантиметра.

Стив покачал головой.

— Вы тоже так сможете через некоторое время, — уверил Тео.

— Руку, наверно, тоже отрубите? — поинтересовался Стив.

— Нет. Но кость будет раздроблена.

— А зачем этот крик припадении и ударе?

— Традиция, — пожал плечами Тео. — Суть — предупредить противника. В сан чин-до все должно быть честно. При самообороне крик может испугать непосвященных нападающих.

— А вам приходилось использовать приемы сан чин-до всерьез?

— Приходилось, — лаконично ответил Тео.

Следующий день принес долгожданные вести... Стив только начал просыпаться и еще лежал в полудреме, не открывая глаз, когда в дверь негромко постучали.

— Войдите, — пробормотал Стив, с трудом приоткрывая веки.

Картина, которая представилась его взгляду, мгновенно прогнала остатки сна и заставила вскочить.

Сам сеньор Сутрос в белом фартуке вкатил в номер столик-тележку с утренним кофе.

— Лежите, лежите, — сказал толстяк, закрывая дверь, и помахал Стиву пухлой маленькой ручкой. — А то еще упадете спросонья. С добрым утром и с добрыми новостями, сеньор Роулинг.

— Вы? — пробормотал Стив, все еще не веря глазам. — Но почему вы? — он кивнул на столик с кофе.

— А почему бы не я? — удивился Сутрос. — Мой отец, например, всегда сам приносил завтрак своим постоянным, уважаемым гостям. Вы не возражаете? — он присел на край широкого ложа, которое занимал Стив. — Выпьем кофе и побеседуем.

— Что-нибудь случилось?

— Он нашелся...

— Где?

— В Сингапуре.

— Цезарь Фигуранкайн-младший? — на всякий случай уточнил Стив.

— Но ведь он вам и был нужен.

— Значит, мне надо немедленно лететь в Сингапур...

Сеньор Сутрос протянул Стиву маленькую матово просвечивающую чашечку с кофе:

— Не торопитесь. Он вынужден скрываться. Очевидно, догадывается, что за ним охотятся. Но теперь мои люди будут поблизости и примут меры в случае опасности. Он вас знает?

— Нет.

— Это сильно осложняет задачу. Он может не поверить. Не захочет разговаривать с вами.

Стив пожал плечами:

— У меня нет выхода... Я должен встретиться с ним и как можно скорее. Иначе будет поздно.

Маленький толстяк задумчиво потер подбородок:

— Надо придумать что-то такое, чтобы он понял, что вы его друг...

— Зачем? Я просто объясню ему ситуацию, — возразил Стив.

— Люди в его положении обычно становятся недоверчивыми. Что вам о нем известно как о человеке?

— Очень мало, — признался Стив.

— Ну, вот видите.

— И все-таки надо действовать.

— Разумеется, — согласился Сутрос. — Но только наверняка. А это значит...

Сутрос умолк и задумался.

— Это значит, что мне сегодня же надо быть в Сингапуре, — заключил Стив.

— Предприятие это более опасно, чем вы, очевидно, предполагаете, — тихо сказал Сутрос после довольно долгой паузы. — Там есть еще кто-то, заинтересованный во встрече.

Это, собственно, и помогло моим людям разыскать его. И еще одно... Похоже, что он стал... или его сделали... наркоманом...

— В конце концов можно прибегнуть к помощи полиции, — заметил Стив.

Сутрос сокрушенно покачал головой:

— Сингапурская полиция! Сеньор Роулинг, что вы говорите!

— Я имел в виду Интерпол...

— Там это не составляет разницы. Обратиться к полиции — значит заранее обречь все на провал. Это вам не Европа и даже не Штаты. Нет, тут надо рассчитывать только на свои собственные силы и возможности.

— Что же вы предлагаете?

— Прежде всего не торопиться, дорогой сеньор,

— Вот это меня и не устраивает.

— Терпение!.. Существуют две возможности. Первая — похитить его, а уж потом убеждать... Вторая — навести на него тех, кто его ищет, помочь ему отбиться, ну а дальше, как получится.

— А что-нибудь попроще?

— Пока не приходит в голову.

— Скажите, где его искать и не откажите мне в любезности сейчас же заказать билет на ближайший самолет в Сингапур.

— Ах, сеньор Роулинг, сеньор Роулинг, билет не проблема. Три часа полета, и вы в Сингапуре. Но ведь там возле вас не будет Сутроса.

— Там есть ваши люди.

— Есть, и они помогут вам. Но, мне кажется, вы забываете, что находитесь в Юго-Восточной Азии. А Сингапур — экстракт юго-востока со всеми его черными и чернейшими сторонами. Вам не приходилось бывать там?

— Только проездом.

— Ну, вот видите, — тяжело вздохнул Сутрос.

— И тем не менее я должен возможно быстрее оказаться там. Вы помогли мне разыскать Цезаря. Это уже бесконечно много, и я никогда не забуду вашей доброты...

Сутрос протестующе поднял руку:

— Не говорите о доброте, сеньор Роулинг. Дело совсем не в ней. И я вовсе не добрый человек. Но я вас уважаю и вы оказали мне большую услугу. У нас на Востоке за добро платят добром и наоборот... Я считаю своим долгом помочь вам в осуществлении задуманного. А кроме того, может быть и вам когда-нибудь еще представится возможность оказать услугу старому Сутросу. Не откажите мне в просьбе — пусть вас сопровождает Тео.

— Тео? А разве он...

— Сейчас у него не найдется задачи более важной. Кроме того, он из Сингапура и давно собирался побывать в родном городе. У него там родственники.

— Ну что ж, — усмехнулся Стив. — Тео приятный компаньон. Может быть, мы даже продолжим тренировки...

— Конечно, конечно, — закивал Сутрос. — Значит, решено. Он полетит с вами.

Прилетев в Сингапур, Стив прежде всего заглянул в местные газеты. Подробности событий в Далласе уже перекочевали на третью, четвертую полосы. Об авиакатастрофе под Мехико и Фигуранкайне ни строчки. Стив внимательно просмотрел объявления адвокатских контор по делам наследства. Здесь тоже ничего. Хотя, казалось бы, именно тут, в Сингапуре, где перекрещивались невидимые нити, связывающие крупнейшие банки Запада, Востока и США, какая-то информация о наследстве Фигуранкайна должна была быть.

Тео ушел и вернулся с небольшим свертком.

— Придется поторопиться, — сказал он. — Вот одежда матроса. Надо переодеться. Под рубаху наденьте это. — Он извлек из свертка что-то гибкое и блестящее. — Пуля ее пробьет, но нож нет. А тут предпочитают ножи...

— Что-нибудь изменилось? — спросил Стив, разворачивая сверток.

— Да... Их хотят сегодня ночью увезти куда-то.

— Их?

— Да, вместе с ним женщина.

— Кто же хочет их увезти?

— Монахи... Они скрываются у монахов... Но там крутятся какие-то парни... Ночью была драка с большой кровью. Шейкуна сказал, что женщину ранили.

— Шейкуна?

— Человек Сутроса. Надежный. Пойдет с нами.

— Индеец?

— Африканец из Мозамбика. Надежный человек.

— Когда идем?

— Сразу как стемнеет. Через полтора часа.

Стив бросил взгляд на часы. Половина пятого. Итак, через несколько часов все решится.

— В крайнем случае уведем его силой? — Стив вопросительно глянул на Тео.

— Нежелательно. Можем навлечь полицию... Но в крайнем случае попробуем.

— Не заказать ли билеты на ночной самолет?

— Нет, придется уходить морем, выждав немного.

— Почему?

— В аэропорту могут ждать. Или полиция, или те, кто охотится за ним.

Шейкуна появился в конце обеда. Он протиснулся в крохотный кабинет, в котором сидели за столом Стив и Тео, и там сразу стало тесно. Это был высокий сутулый негр с очень узкими плечами и длинными руками; у него было плос-

кое почти безбровое лицо с покатым лбом и широким приплюснутым носом. Глубоко посаженные глаза глядели настороженно и сурово. При первом же взгляде на него Стив подумал, что Шейкуна, несмотря на свою тощую сутулую фигуру, должен быть необыкновенно ловок и силен. Чем-то он напоминал вставшего на задние лапы тигра. Как большинство обитателей портовой части Сингапура, Шейкуна был одет в светлую трикотажную безрукавку с выцветшими портретами каких-то красоток и широкие парусиновые штаны.

Он приветствовал Стива поклоном, скрестив на груди длинные руки. Стив пригласил его присесть к столу, и Тео, бросив на Стива быстрый взгляд, придвинул Шейкуне стакан. Шейкуна протянул руку, выудил на противоположном конце стола графинчик с рисовой водкой, выплеснул его содержимое в стакан, проглотил одним махом и, отерев губы ладонью, уставился на Стива.

— Съешь что-нибудь? — спросил Тео.

Шейкуна молча покачал головой.

— Что с катером?

— Будет, если понадобится.

Голос у него был глухой и хриплый и обычный для южноафриканцев акцент.

— У меня есть несколько вопросов, — сказал Стив.

Шейкуна кивнул, не сводя со Стива настороженного взгляда.

— Человек, к которому мы идем, тот, кого я ищу?

Шейкуна снова кивнул.

— Как его зовут?

— Здесь он называет себя брат Дуонг, но настоящее имя Цезарь Фигуранкайн. Он американец.

— Что он делает у монахов?

— Говорят, теперь курит опиум.

— А раньше что делал?

— Искал древние рукописи.

— И нашел их?

Шейкуна заколебался:

— Может, и нашел... Не знаю...

— А почему монахи прячут его?

Шейкуна снова заколебался:

— Наверно, просил помочь...

— Но монахи ничего не станут делать бесплатно. А у него ведь нет денег.

Шейкуна закивал согласно.

— Нет, совсем нет...

— Так в чем же дело?

— Я не знаю...

— А эта женщина с ним... Кто она?

Шейкуна многозначительно надул губы:

— О-о, красивая женщина, очень красивая, очень смелая

и мудрая. Люди говорят — дочь брамина с острова Бали. Она тоже скрывается...

— И они давно вместе?

— Давно. Встретились в Англии. Она там училась.

— А как ты думаешь, отпустят их монахи, если я уговорю его уйти?

По широкому лицу Шейкуны впервые скользнуло подобие улыбки.

— Почему не отпустят? Отпустят, — сказал он, рассматривая свои огромные руки. — Должны будут отпустить.

Они вышли спустя десять минут с черного хода. Через полутемные вонючие дворы и какие-то закоулки выбрались на плохо освещенную кривую улочку, такую узкую, что можно было коснуться противоположных стен, если расставить руки. Духота не стала меньше, но гибкая чешуя кольчуги приятно холодила спину и грудь сквозь тонкую майку. Шли быстро. Шейкуна впереди, за ним Стив, сзади Тео. Одеты они были примерно одинаково и со стороны напоминали моряков, ищущих ночных развлечений. Шейкуна уверенно шагал впереди, и Стив скоро совершенно потерял ориентировку в этом душном ночном лабиринте плохо освещенных кривых улиц и переулков, бесконечных лавчонок, баров со стриптизами, дешевых публичных домов, курилен и притонов. Несколько раз они миновали небольшие храмы — индуистские, буддийские, синтоистские и еще бог знает какие — с багровеющими внутри отсветами алтарей.

И Стив снова, уже в который раз, подумал о том, что без помощи Сутроса вся эта абсурдная затея давно бы провалилась. Несмотря на то, что он бывал в Юго-Восточной Азии, даже работал здесь, он не представлял себе всей сложности традиций, обычаев, связей, людских взаимоотношений в этом огромном человеческом муравейнике нищеты, страданий, жажды наживы, пота, похоти и крови, где все решали деньги, хитрость и сила.

Они шли без приключений уже около часа. Стив чувствовал, как ручейки пота струятся у него между лопаток и по груди. Кольчуга давно перестала холодить перегретое тело.

— Далеко еще? — шепотом спросил он Шейкуну.

Послышалось отрывистое «Нет», и Шейкуна ускорил шаги.

Теперь они почти бежали по темной пыльной улице. Лавки и бары попадались все реже. Их сменили длинные глухие заборы. Город был огромен, и даже эта его припортовая часть раскинулась на много километров. Наконец Шейкуна замедлил шаги. Они вышли на небольшую темную площадь. Единственный тусклый фонарь в дальнем углу едва освещал асфальтовые заплатки между стволами пальм, кроны которых только угадывались на фоне темного беззвездного неба. За

пальмами громоздилось какое-то обширное темное строение со ступенчатой крышей, напоминающее пагоду.

— Это здесь, — тихо сказал Шейкуна. — Подождите. — И он исчез, словно растворился во мраке.

Они молча ждали несколько минут. Поблизости никого не было видно, хотя вечер едва начался. Стив бросил взгляд на часы. Всего лишь половина восьмого.

— Что там такое? — спросил он, кивнув на темное строение по другую сторону площади.

— Буддийская святыня и монастырь. Очень старый монастырь. Говорят, существует с десятого века. Тогда еще не было города.

— Какая это часть Сингапура?

— Северо-запад. Отсюда тоже недалеко до моря.

— А где центр?

— Сити? Там, — Тео ткнул пальцем в темноту.

— Почему же не видно зарева огней?

— Далеко. Туман... Звезд тоже не видно.

Рядом из темноты бесшумно вынырнула сутулая фигура Шейкуны. Он внимательно огляделся по сторонам, прислушался. Стив затаил дыхание. Звон цикад, далекие гудки автомашин, где-то в глубине квартала плакал ребенок...

— Пошли, — тихо сказал Шейкуна.

Массивная металлическая калитка бесшумно приотворилась при их приближении. В узкую щель они протиснулись по одному. За спиной негромко звякнули засовы. Во дворе под густыми кронами деревьев царил полный мрак. Пахло воском, сандаловым дымом, еще чем-то сладковатым и одновременно горьким.

Шейкуна заговорил... Язык был Стиву неизвестен. Тотчас узкий луч карманного фонарика скользнул по лицу и груди Стива. Потом осветил Тео. Тот отрывисто сказал что-то, и фонарик погас. Некоторое время Шейкуна переговаривался с кем-то невидимым, и Стиву показалось, что они препираются. Но Тео вдруг сказал по-английски:

— Идите за ним. Мы подождем вас тут.

Стив уже хотел спросить — за кем, но кто-то вдруг взял его за руку и потянул за собой. Несколько десятков шагов прошли в полной темноте. Под подошвами скрипел гравий. Лицо задевали влажные листья. В темном парном воздухе приторно пахло какими-то цветами.

— Осторожно, здесь ступени, — сказал по-английски провожатый.

Снова возник тонкий луч фонаря, осветил каменные ступени, круто уходящие вниз, и подол желтого одеяния проводника.

— Пригнитесь немного, когда станете спускаться, — продолжал проводник, — я пойду первым, вы за мной.

Он начал медленно спускаться, освещая ступени позади себя. Стив наклонился и последовал за ним, стараясь наступать на пятна света, отбрасываемые фонарем. Лестница оказалась винтовой, очень крутой и узкой. Стив осторожно поднял руку и нащупал каменный свод совсем близко над головой. Здесь, в этой тесной каменной спирали, сноп света от фонаря немного рассеивался, и Стив теперь смог различить фигуру провожатого. Это был невысокий плотный человек с круглой бритой головой в традиционной одежде буддийского монаха. Длинное желтое одеяние, в которое он был закутан, оставляло открытой шею, правое плечо и руку.

Спускались довольно долго. Стив насчитал более шестидесяти ступеней. Духота постепенно сменилась приятной прохладой. Здесь действовала какая-то особая вентиляция. Ток свежего воздуха снизу ощущался очень отчетливо. Наконец лестница кончилась, скрипнула дверь, и Стив очутился в обширном каменном коридоре, освещенном тусклыми электрическими лампами. Постепенно поднимаясь, коридор тянулся далеко. По обеим сторонам стен темнели ответвления и массивные старинные двери, закрывающие входы в какие-то помещения.

«Целый подземный лабиринт, — мелькнуло в голове Стива. — И похоже на подземную тюрьму... Из такого каменного мешка не выберешься». Ему стало не по себе, и он осторожно пощупал пистолет под мышкой.

Провожатый что-то сказал, и из ближайшего ответвления коридора появились еще двое бритоголовых монахов в желтых тогах с обнаженными руками и правым плечом. Все трое были молодые крепкие ребята, и их взгляды не выражали особой симпатии к Стиву. Некоторое время они молча рассматривали его. Стив напрягся и ждал, что последует дальше.

Один из монахов, по виду самый младший, сделал шаг вперед.

— Как ваше имя? — спросил он неожиданно приятным, мягким, с бархатным оттенком голосом.

Стив сказал.

— Вы англичанин?

— Нет, американец.

— Журналист?

— Да.

— А кто вам помог проникнуть сюда?

Вопрос поставил Стива в тупик. Кого этот человек имеет в виду — Шейкуну или может быть Тео? Тео тоже сингапурец.

— У меня здесь много друзей, — уклончиво ответил Стив. — Помогли многие.

— Похвально, когда у человека много друзей, — с оттенком иронии заметил монах. — Особенно, если друзья достойные люди. Но все-таки мы хотим услышать более точный ответ,

— Больше всего я обязан сеньору Сутросу, — сказал Стив, — но он... из Манилы.

Монахи негромко загворили между собой. Стив разобрал только имя Сутроса, повторенное несколько раз. Очевидно, ответ Стива удовлетворил их, потому что второй монах — по-видимому главный среди них — объявил на ломаном английском:

— Хорошо, мы разрешим вам беседовать с нашими гостями, но мы вынуждены обыскать вас.

— Обыскать? — повторил пораженный Стив, не зная, как реагировать на это неожиданное условие.

— Да... И если вы имеете при себе оружие, дайте его нам.

Стив колебался всего несколько мгновений.

«Я уже столько раз рисковал, начав эту игру, — подумал он, — и зашел так далеко, что выход теперь только один...»

Он осторожно извлек пистолет и, держа его за ствол, протянул собеседнику. Тот сделал знак рукой, и пистолет взял провожатый, который привел Стива в подземелье.

— Больше нет? — спросил монах.

— Нет.

— Теперь разрешите обыскать.

Стив презрительно усмехнулся. Поднял руки вверх. Пальцы провожатого быстро пробежали сверху вниз по его одежде. Они, конечно, нащупали и кольчугу под рубашкой, но это обстоятельство, по-видимому, не удивило монаха. Он выпрямился, кивнул бритой головой и спокойно отступил в сторону.

— Пойдемте, — сказал самый молодой монах.

«Ну теперь надежда только на Тео и Шейкуну, — подумал Стив, следуя за новым проводником. — Я обезоружен, и все искусство сан чин-до и эта дурацкая кольчуга едва ли мне помогут».

Идти пришлось долго. Они много раз поворачивали то направо, то налево, проходили через обширные тускло освещенные залы, где ряды колонн поддерживали низкие каменные своды, а возле изваяний сидящих или лежащих будд курились благовония. Навстречу им попало несколько монахов, которые не обратили на Стива никакого внимания. В одном из подземных залов монахи, сидя на каменном полу, молились, они были погружены в размышления.

Последний коридор, в который они свернули, упирался в дверь. За дверью оказалась еще одна винтовая каменная лестница. По ней пришлось подниматься. Очевидно, подземный лабиринт был многоэтажным. Стив насчитал сорок семь ступеней, прежде чем провожатый, не дойдя до конца лестницы, свернул в очень узкий боковой проход, по которому пришлось идти согнувшись. Здесь было более душно, чем внизу, но Стив почувствовал облегчение. Все-таки теперь он был ближе к поверхности. Узкий проход вывел в круглый зал с

колоннами, из которого по радиусам расходилось несколько коридоров разной ширины. Провожатый пересек зал и направился в самый широкий коридор. Стены его были украшены причудливым каменным орнаментом, а на равных интервалах слева и справа темнели массивные двери, покрытые резьбой по дереву.

— Библиотека, — сказал вдруг монах, — хранилище буддийских рукописей. Одно из самых больших в Малайзии.

Они прошли библиотечный коридор до конца, свернули направо, и провожатый остановился напротив боковой каменной ниши. Внутри ниши Стив разглядел три двери.

— Это здесь, — и монах постучал в среднюю дверь.

За дверью послышались быстрые шаги и женский голос спросил что-то. Монах ответил своим спокойным, мягким баритоном. Дверь отворилась. На пороге стояла женщина в светлом сари.

Черты ее лица были неразличимы в полумраке. Стив видел только ореол пышных темных волос, подсвеченных откуда-то сзади. Но вся ее изящная, стройная фигура на фоне освещенного изнутри дверного проема, контуры шеи, плеч, бедер свидетельствовали о красоте и молодости.

Она что-то взволнованно сказала монаху, и Стив успел заметить, как блеснули в темноте белки ее глаз. Монах спокойно выслушал, кивнул и, обращаясь к Стиву, сказал:

— Это госпожа Райя — близкий друг человека, который вас интересуется. Сам он сейчас не совсем здоров... и не сможет принять вас. Госпожа Райя объяснит вам все.

— Но я... — начал Стив.

— Ничего другого не могу вам предложить, — холодно прервал монах.

Сомнения снова охватили Стива. Неужели все это мистификация? Неужели Сутрос одурачил его?.. С какой целью?

— Послушайте, — прошептал Стив, стиснув зубы... — Мне нужен тот человек, которого я ищу. Только он и никто другой. И никакая восточная богиня не в состоянии заменить его.

— Благодарю за неожиданный комплимент, — сказала вдруг женщина на чистом английском языке, — но брат Хионг прав... И уж если вы сумели проникнуть сюда, то, вероятно, самое лучшее для вас удовольствоваться беседой со мной и после этого... оставить нас в покое. Это, конечно, невежливо с моей стороны, но я вынуждена напомнить, что инициаторами встречи были отнюдь не мы...

Стив не мог не признать в глубине души, что она права. А кроме того, и сам он до этого момента представлял подругу Цезаря Фигуранкайна-младшего несколько иной... Если, конечно, Цезарь имеет к этой женщине хоть какое-то отношение... В сущности, у Стива остался только один способ выяснить — мистифицируют его или нет...

— Итак, что вы решили? — спросил монах.

— Согласен, — кивнул Стив, — поговорю с леди.

— Я к вашим услугам, — холодно сказала женщина, пропуская его вперед.

Стив оглянулся на монаха. Но брат Хионг, видимо, не намеревался присутствовать при беседе. Он молча поклонился Райе и притворил за Стивом дверь.

Переступив порог, Стив остановился пораженный. Обширное помещение было обставлено с истинно восточной роскошью — ковры на стенах и на полу, диваны и кресла, обтянутые темно-красным сафьяном, парчовые подушки и накидки, старинные бронзовые светильники в виде драконов, дорогое оружие на стенах. В глубине комнаты широкая золотистая драпировка закрывала альков или арку, ведущую в другое помещение. У стены справа находился небольшой мраморный алтарь с фигурой сидящего Будды. Перед алтарем курились благовония. Их тонкий аромат заполнял все помещение. Воздух был свеж и прохладен. Стив перевел взгляд на женщину, и у него мелькнула мысль, что все это сон... Такой красавицы он не только никогда не встречал, но даже и не предполагал, что красота столь совершенная может существовать. Женщина, конечно, догадалась, какое впечатление произвела на него. Она опустила глаза и жестом предложила Стиву сесть. Он выбрал одно из глубоких кресел возле низкого японского столика, инкрустированного перламутром.

Райя присела с другой стороны стола на сафьяновом пуфе. Теперь лицо ее оказалось в тени, но Стив продолжал любоваться ею.

Она сидела очень прямо, приподняв голову и чуть отвернувшись от него. Руки она сложила на коленях. Только теперь Стив заметил на ее левой руке, выше локтя, марлевую повязку.

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем я здесь? — спросил он, не сводя с нее взгляда.

Она чуть шевельнула бровью:

— Хотите получить интервью.

— Нет.

Она быстро повернулась, и он прочел в ее глазах недоумение и испуг:

— Тогда... тогда зачем же?

— Я хотел предложить несколько миллиардов...

— Несколько миллиардов? — она вдруг рассмеялась. — Ах вот что. Ему? — она кивнула в сторону золотистой драпировки. — Ему не нужно. И он не возьмет ничего.

— Послушайте, — сказал Стив. — Не торопитесь... Игра пока идет втемную, по крайней мере, для меня. А игра слишком серьезна, леди. Но дело даже не в миллиардах или, вернее, не только в них...

— А в чем же?

— Мне кажется, что вы умная женщина. И если я не оши-

баюсь, значит, природа в вашем лице сотворила совершенство редчайшее из редчайших...

Она усмехнулась.

— Я всего-навсего скромный журналист провинциальной американской газеты, — продолжал Стив. — Случайно мне повезло. В погоне за очередной сенсацией я узнал одну тайну, которая, если ею правильно воспользоваться, могла бы принести немалую пользу...

— Тайну, — повторила она. — Эта тайна, конечно, не ваша.

— То есть теперь она немного и моя тоже, но в целом нет.

Она снова усмехнулась, но теперь улыбка была совсем иной:

— Другими словами, вы хотели бы заняться шантажом?

Он протестующе поднял руки:

— Меньше всего на свете. Повторяю, не торопитесь.

— Так чего же вы хотите?

— Прежде чем я скажу это вам, я должен точно знать, кто находится за этим занавесом.

Она удивленно пожала плечами.

— Вы же знаете, иначе не явились бы сюда.

— И все-таки хочу убедиться.

— До чего вы, американцы, упрямы. Ограниченны и упрямы. Смотрите.

Она встала, подошла к золотистому занавесу, отодвинула его, и Стив увидел мужчину, который лежал под балдахином на широком ложе в глубине алькова.

Стив поднялся, и Райя бросила на него быстрый тревожный взгляд, но он лишь сделал несколько шагов в сторону алькова, чтобы лучше рассмотреть лежащего.

Это был молодой человек с очень бледным, худощавым лицом, окаймленным рыжеватой бородкой. Вьющиеся светлые волосы, высокий лоб, тонкий с горбинкой нос. Разлет темных бровей и острый выступающий подбородок свидетельствовали скорее о сильном характере... Тем более странными выглядели здесь все эти шприцы, лежащие на столе у изголовья, и приборы для курения опиума с длинными трубками. Глаза лежащего были закрыты, дыхание чуть заметно. Из-под длинного красного бархатного халата торчали голые волосатые ноги.

— Давно он так? — спросил Стив.

Райя отвернулась и не ответила.

— Странно, — сказал Стив, не отрывая внимательного взгляда от лица спящего, — очень странно...

Ему показалось, что ресницы на этом бледном лице нервно дрогнули.

— О чем вы? — спросила Райя, задвигая занавес.

— Обо всем этом маскараде, — жестко сказал Стив, снова садясь в кресло.

— Маскараде? — она почему-то смутилась.

— Ну конечно. У вас есть его паспорт?

— Какой паспорт?

— Его американский паспорт.

— Зачем он вам?

— Чтобы вы поняли наконец, что играете в куклы. Нет, вы все-таки глупее, чем я вначале подумал.

— Как вы смеете!

— Не сердитесь. Дайте мне взглянуть на его паспорт, и я докажу это, — сказал он, внимательно следя за занавесом, который явно шевельнулся.

Гневно сверкнув глазами, она взяла с дивана кожаную дорожную сумку, открыла ее, достала паспорт — их было два, — вынула из одного паспорта что-то и швырнула паспорт на столик, за которым сидел Стив. Паспорт скользнул по лакированной крышке стола и упал на ковер к ногам Стива. Стив наклонился, поднял его и раскрыл. С фотографииглянул тот, кто лежал сейчас за занавесом, только без бороды. Рядом значилось — Цезарь Чарльз Честер Фигуранкайн... Стив быстро перелистал страницы: десятки виз — Англия, Франция, Швейцария, Египет, Родезия, Иордания, Индия, Конго, Бирма, Филиппины, Индонезия, снова Индия, Таиланд и так далее.

Он покачал головой и положил паспорт на стол.

— Ну, я жду, — сказала Райя, сдвинув брови.

Стив негромко рассмеялся.

— Эти билеты на сегодняшний ночной рейс?

— Какие еще билеты?

— Билеты, которые вы только что вынули из его паспорта и переложили в свой.

— А вот это вас совершенно не касается.

— Представьте себе, касается. Я не хочу, чтобы с такой красивой женщиной что-нибудь приключилось, что-нибудь плохое...

— О чем вы?

— Вот это как раз доказательство, что я прав. А вы оба... — Стив махнул рукой. — Неужели вы воображаете, что вас выпустят из Сингапура живыми?

— Кто... выпустит?

— Те, кто вчера вас ранил.

Она усмехнулась.

— Они...

— Допустим... Но у них остались сообщники. Неужели вы думаете, что тот, кто наслал на вас этих подонков, ограничится только вчерашней бандой.

— Вам что-нибудь известно о них? — спросила она, понижая голос и наклоняясь к нему; Стив прочитал в ее огромных глазах сомнение и страх.

— Не очень много. Но у меня есть надежные друзья, которые могли бы помочь и вам.

Она покачала головой:

— Цезарь не согласится. Он не доверяет никому, кроме здешних монахов. Мы, конечно, могли бы остаться тут еще. Но...

Стив решительно и громко объявил:

— Ну, довольно. Пора кончать этот спектакль. Мистер Фигуранкайн, вылезайте из вашей прекрасной шкатулки и подсаживайтесь к нам. Ситуация выглядит иначе, чем вы, очевидно, предполагаете. Давайте, давайте... У нас немного времени.

Не обращая внимания на Райю, которая устремила на него взгляд, полный ужаса, Стив неторопливо встал, подошел к алькову и отдернул занавес. Цезарь Фигуранкайн-младший сидел теперь посреди своего ложа, скрестив голые ноги, и выглядел несколько растерянным.

— Как вы догадались? — пробормотал он, запахивая халат.

— Это я потом объясню, — пообещал Стив. — Сейчас мы должны уточнить что-то другое. Вам известно о гибели вашего отца?

— Да. Недавно узнал из газет...

— А о том, что разыскивают наследника?

— Нет... И ко мне это не относится. Он лишил меня наследства.

— Откуда вам это известно?

— Сам сообщил мне об этом.

— Когда же вы с ним виделись?

Цезарь вопросительно взглянул на Райю:

— Когда?.. Последний раз около года назад... Да-да... Вскоре после того, как этот мерзавец Пэнки... — Он вдруг закусил губу и умолк, глянув исподлобья на Стива. — А почему, собственно, вы спрашиваете меня и я вам это рассказываю? Я вас первый раз вижу. Кто вы, собственно, такой? Нам сказали, что вы хотите взять интервью...

— Вот я и беру его, — усмехнулся Стив. — Значит, «этот мерзавец Пэнки»... Подождите-ка, я ведь слышал эту фамилию!.. Вероятно, даже видел однажды. Такой длинный худой старик, похожий на земичного вампира?

— Гм, — хмыкнул Цезарь, видимо, склонный одобрить сравнение.

— Год назад, — продолжал Стив. — Но за этот год кое-что могло измениться и изменилось. Готов утверждать под присягой, что в завещании, которое хранится в Нью-Йорке, вы значитесь единственным наследником.

— А откуда вам это известно? — спросил Цезарь, спуская на пол длинные худые ноги.

— От некоего Феликса Крукса.

— Нет, я не верю вам, — медленно произнес Фигуранкайн-младший. — Это ловушка, Райя... Вокруг моего покойного отца крутился слишком много разного сброда. Они, ко-

нечно, помогали ему делать деньги, но они же и не допустят, чтобы я мог воспользоваться этими деньгами. Они слишком хорошо знают мое отношение к тому, чем они занимаются... Конечно, я сам виноват, но... Между прочим, неизвестный благодетель, если вы действительно журналист, а не подонок из их своры, — вот где вас ждут истинные сокровища сенсаций... Попробуйте расковырять весь этот гнойник... Если, конечно, не боитесь. Я даже мог бы вам чуть-чуть помочь в этом, когда мы с ней, — он кивнул на Райю, — сами окажемся в более безопасном месте. Здесь нам, как вы, конечно, догадываетесь, нельзя больше оставаться. Боже, какая ирония судьбы! Мне же ничего не надо. Оставьте меня в покое, наедине с моей работой, с моими рукописями, с ней, наконец. Правда, Райя? Нам же ничего не надо... Никаких миллиардов... Тем более что я их все равно не получу...

— Ну, ты кончил этот трогательный монолог? — поинтересовался Стив, с любопытством глядя на Цезаря.

— Нет. Отец пытался привить мне вкус к большому бизнесу... Я работал в его банке в Рангуне... Кстати, именно в Рангуне я и нашел свое истинное призвание... Но ему донесли, что я занялся не тем. Он вызвал меня... Он тогда был в Лондоне. Попытался «продуть мне мозги» — это было его любимое выражение — и послал в свое «княжество», в Центральную Африку. Вот тут-то я и понял все... Я прозрел окончательно... Сказал этим свиньям, что о них думаю, оставил одному на память сломанный нос и сбежал на украденном самолете. Как они меня не догнали и не сбили, не знаю. А, может, мне просто повезло... С отцом я потом тоже поговорил откровенно, и он объявил, что знать меня больше не хочет. На том мы и расстались... Вот теперь все.

— Значит ты мне не веришь?

— Конечно, нет... Только не обижайся. Может, ты и не такое дерьмо, как я думаю, но теперь я никому не верю.

— О'кей. Видишь вот это? — Стив вытащил из бокового кармана маленький черный параллелепипед.

— Вижу. Кассета?

— Есть у тебя магнитофон?

— Где-то был. Райя, дай ему.

Молодая женщина, улыбнувшись уголками губ, вынула из-под крышки стола, за которым сидел Стив, портативный диктофон.

— Что, записали наш разговор? — восхитился Стив. — Молодцы! Этого я от вас не ожидал...

Он весело рассмеялся.

Райя, опустив глаза, извлекла из диктофона кассету и протянула аппарат Стиву.

— Ну, а теперь слушай внимательно, — сказал Стив, вставляя свою кассету в аппарат и щелкая переключателями. — Голос, надеюсь, ты узнаешь.

В наступившей тишине послышался шелест, а затем —

взволнованный голос Крукса: «Я католик и глубоко верующий человек, и в своей профессиональной деятельности я всегда старался быть честным...»

Стив окинул испытующим взглядом слушателей. Райя все еще выглядела смущенной и слушала без особого интереса, но Цезарь явно был поражен. Стив уже не сомневался, что он узнал голос адвоката. Услышав обращение Крукса «ваше преосвященство», Цезарь вопросительно взглянул на Стива, а потом вскочил, босиком перебежал пространство, отделявшее его ложе от столика, на котором лежал диктофон, и присел на ковре у ног Райи.

Стив выключил аппарат, как только прозвучали слова Крукса: «Осталось первое завещание... Я так и не уничтожил его. Не знаю, что бы он придумал еще, если бы остался жив, но теперь отвергнутый сын — его единственный наследник».

Наступила тишина. Цезарь продолжал сидеть на полу, покусывая пальцы левой руки. Райя, как зачарованная, смотрела на умолкнувший диктофон.

— Что же все это значит? — произнес наконец Фигуранкайн-младший, поднимаясь с пола и глядя озадаченно на Стива. — Откуда эта кассета и с кем разговаривал Феликс? Неужели и это липа?

— Липа в этом действительно присутствует, — сказал Стив. — Но она не затрагивает главного. Липовый здесь только «его преосвященство», но Крукс, конечно, не подозревал об этом и говорил правду.

Цезарь задумчиво покачал головой:

— Непостижимо... Как мог Феликс Крукс, этот стреляный воробей, которого я хорошо знаю, попасться на такой мякине? Непостижимо... Липовый кардинал!.. Ничего себе фокус. Неужели это ты?

— Я, — скромно признался Стив.

— А я узнала ваш голос, — сказала вдруг Райя.

— Ну, что ты теперь скажешь? — поинтересовался Стив. Цезарь, покачивая головой, долго молчал.

— Не знаю, — сказал он наконец с глубоким вздохом, — право не знаю... Даже если такое завещание действительно существует и Крукс сможет доказать его подлинность, даже если его вонючая свора допустит, что я получу наследство... Пойми, как тебя?..

— Стив.

— Пойми, Стив, мне это ни к чему. Я с этим покончил. Меня интересует совсем другое.

— Буддизм?

— В частности буддизм и еще кое-что... Уверю тебя, здесь, на Востоке, есть множество любопытных вещей, которым не жалко посвятить годы.

— Но, по-моему, это легче сделать, имея в кармане несколько миллиардов?

— Ты что, знаешь даже, во сколько оценивается состояние моего покойного отца?

— Понятия не имею, но думаю, что там счет шел на миллиарды.

— Понимаешь, Стив, а я вот не знаю... Там, конечно, много недвижимости — земли, рудники, отели, но отец часто шел на весьма рискованные комбинации или его на это толкали... А в последнее время он связался с таким... предприятием, которое не обещало прибыли в ближайшие годы.

— Ты имеешь в виду «ОТРАГ»?

— Гм... Тебе, значит, и это известно...

— Крукс же упоминал о нем в «исповеди».

— Да, действительно. Но тогда тебе должно быть более понятно, почему я не хочу ввязываться в эту игру.

— Можно изменить условия..

— Какие условия?

— Условия игры.

— Это невозможно, Стив. Я ведь хорошо представляю всю машину изнутри. Пробыл в ней почти год. Это целое государство со своими тотальными законами, с железной дисциплиной. Всем командуют немцы; немцы, которым терять уже нечего. Такие, которым даже в ФРГ рискованно появляться. Все они числятся в списках военных преступников. Один Герберт Люц чего стоит.

— Кто это?

— Значит, кое-что тебе все-таки неизвестно... Люц официально числится административным директором африканского полигона «ОТРАГа». Фактически он там полновластный диктатор. Полигон же — более ста тысяч квадратных километров. Кем был Люц в прошлом, не знаю, в будущем он мнит себя новым фюрером, по крайней мере континентального размаха.

— Каковы главные цели «ОТРАГа»?

— Реванш. Официально «ОТРАГ» — это аббревиатура немецкого «Орбиталь транспорт унд ракетен акциенгезельшафт»; существует и другая расшифровка, более откровенная... Дело не в названии. Это исследовательский полигон, лаборатории, заводы, где создаются не только новые типы ракет, но и принципиально новые летательные аппараты, каких ни в одном государстве пока не существует.

— Летящие блюда?

— Возможно. Хотя даже меня — сына главного босса — в эти тайны никто не посвящал. Эта часть деятельности «ОТРАГа» засекречена абсолютно. Журналисты там никогда не появлялись.

— Но твой отец знал конечно?

— Знал, хотя допускаю, что тоже не все. Капиталы «ОТРАГа» смешанные. Отец вложил туда огромные средства, но он был не единственным акционером.

— А контрольный пакет акций?

— Вероятно, находился у отца. Доподлинно об этом известно только Алоизу Пэнки — президенту-исполнителю банка CFS.

— Тоже немец?

— Да. И Пэнки не настоящая его фамилия.

— А настоящая?

— Мне она неизвестна. По-видимому, с настоящей он испытывал некоторые неудобства.

— Любопытные дела, — пробормотал Стив.

— Все это только пена. А из глубины можно выудить еще такое... Впрочем, для начала и этого достаточно. Думаю, что тебе, Стив, еще не приходилось брать подобного интервью. Это будет сенсация экстра-класса, если твои хозяева решатся опубликовать твои корреспонденции. Только после этого я не дал бы за твою голову и пенса.

— Так же, как и я за твою сейчас.

— Преувеличиваешь.

— Нисколько. Пойми, тактика страуса тебе не поможет. Все равно рано или поздно они разыщут тебя и ликвидируют. Уже хотя бы потому, что тебе кое-что известно. А если ты еще и потенциальный наследник... Пэнки, конечно, известно твое отношение к «ОТРАГУ»...

Стив махнул рукой.

— Я могу отказаться вполне официально, — неуверенно произнес Цезарь.

— Ты сам понимаешь, что это не поможет. Люц и Пэнки не оставят тебя в покое.

— Там есть и другие...

— Тем более.

— Интересно, Стив, а что бы ты сделал на моем месте?

Стив усмехнулся:

— Понимаешь, мне как-то трудно представить себя на твоем месте, но уж во всяком случае я не стал бы изображать страуса.

— Не понимаю... С одной стороны, ты утверждаешь, что у меня нет выхода, а с другой...

— Я вовсе не утверждаю, что у тебя нет выхода. Выход есть... И, по-моему, превосходный выход. Немедленно возвратиться в Нью-Йорк и добиваться получения наследства.

— Меня уберут еще по дороге.

— Риск существует, но можно принять кое-какие меры предосторожности. В этом я, вероятно, смог бы тебе помочь.

— Допустим. Но, во-первых, что ты за это захочешь, а во-вторых, что будет дальше.

— После того, как ты станешь во главе империи Фигуранкайнов?

— Гм... Ненавижу империи, даже в прошлом.

— Превосходно. Это как раз то, что требуется.

Цезарь внимательно посмотрел на Стива:

— Объясни.

— А, по-моему, мы уже поняли друг друга.

Цезарь задумался, по привычке покусывая пальцы.

— Интересно все-таки, что ты резервируешь в этом случае для себя? — заметил он наконец, снова взглянув на Стива.

— Гораздо меньше, чем ты, очевидно, предполагаешь: роль столь необходимого тебе ангела-хранителя, а иногда — советника в тех делах, в которых немного разбираюсь, и, разумеется, приличное жалованье, которое позволило бы мне бросить журналистику.

— И все?

— Пока все.

— А потом?

— Стоит ли сейчас говорить о «потом».

— И ты думаешь я мог бы?..

— Думаю, что да.. Не сразу, конечно, постепенно. Шаг за шагом.

— Гм... Никогда не приходило в голову.

— Напрасно.

— Да я и сейчас не представляю, что бы я мог сделать.

— Тогда послушай. Я, конечно, стану импровизировать.

— Давай.

— Первое: поначалу все работы «ОТРАГа» продолжать, даже потребовать ускорения некоторых из них; засекретить все еще сильнее и полностью исключить обмен информацией между подразделениями фирмы. Мотивировка — предотвратить дальнейшую утечку информации, что, с твоей точки зрения, стало причиной гибели твоего отца.

— Логично, — одобрил Цезарь, — ну, а дальше?

— Второе: постепенно менять тематику разработок в отдельных звеньях этой ядовитой цепи, исключив или нейтрализовав вначале направления наиболее людоедские. Для этого привлечь соответствующих специалистов, которые могли бы стать твоими единомышленниками...

— Нашими, — поправил Цезарь.

— Ну, допустим, нашими.

— А найдем таких?

— Знаешь, Цезарь, будучи журналистом, я изрядно поматался по планете. Иногда мне все-таки попадались порядочные люди. Дельные и порядочные. Даже и среди нынешних ученых...

— А вот мне пока как-то нет, — пробормотал Фигуранкайн-младший, — даже и среди тех, у кого мне пришлось учиться.

— Бывает, — согласился Стив. — Я совсем не утверждаю, что людей, которые понадобятся, найти легко. Легко только сидеть сложа руки. Третье: перессорить руководящих боссов из самой верхушки и постепенно убрать одного за другим.

— Это, мне кажется, самым простым, — заметил Цезарь. — Они и без того готовы перегрызть друг другу глотки.

— Четвертое, — продолжал Стив, — переключить работу

«ОТРАГа» и всех связанных с ним звеньев империи твоего покойного папаши на дела и поиски, более достойные людей второй половины XX века.

— Иными словами, — резюмировал Цезарь, — нажать на тормоза, дать кое-кому под зад коленкой и повести поезд по новому пути.

— Построив предварительно новую насыпь и положив на нее шпалы и новые рельсы.

— Скажи, Стив, ты любишь читать научную фантастику?

— Нет, я ее ненавижу.

— А тебе не кажется, что все это фантастика?

— Что именно?

— Все четыре пункта твоей программы.

— Нашей программы.

— Пусть нашей, — скривился Фигуранкайн-младший, — от этого она не станет более реальной.

— Отвечаю: не кажется. Конечно, все это будет чертовски трудно. Трудно, опасно, мерзко, долго... Но история не знает, Цезарь, великих дел без великих препятствий. Даже и твой знаменитый тезка две тысячи лет назад...

— Оставь его в покое, — резко прервал Фигуранкайн. — Я по специальности историк, но ни древняя, ни новая история не знает примеров хоть сколько-нибудь подобных тому, что ты предлагаешь. И во всяком случае, чтобы замахнуться на подобное, одного желания недостаточно.

— Ты прав. Нужна еще смелость, граничащая с наглостью, и деньги. Множество денег. Денег, в которых не очень заинтересован тот, кому они принадлежат. Деньги, которые будут рождать не новые деньги, а что-то другое...

— Что, например?

— Ну, например, еще не существующие лекарства от проказы, рака, преждевременной старости; например, помогут вырасти детям, которые сейчас тысячами умирают с голоду, от болезней; например, помогут найти Атлантиду, Пацифиду, место библейского рая, гробницу Александра Македонского. Что еще? Например, создадут такое горючее, которое не будет отравлять людей в городах; например, найдут средство отрезвить полоумных политиков и генералов и заставить их раз и навсегда забыть о войне. Эх, да мало ли куда еще можно с пользой для людей израсходовать миллиарды твоего покойного папочки.

— Умопомрачительные перспективы... Если бы он мог предполагать что-либо подобное!

— Думаешь, не стал бы создавать свою империю?

— Нет. Задушил бы меня в младенческом возрасте.

— Значит, ты согласен?

— Не то чтобы согласен... Но мне это кажется занятным. И уж если, действительно, не останется иного выхода...

Где-то вдалеке послышался грохот. Он быстро нарастал и приближался. Дрогнули стены, пол. Лампы начали меркнуть.

С потолка посыпалась пыль, его деревянная обшивка угрожающе заскрипела.

Райя испуганно вскрикнула.

Стив и Цезарь вскочили на ноги.

У Стива мелькнула мысль о землетрясении, но грохот, нарастая, превратился в лязг, от которого, казалось, лопнут барабанные перепонки. Лампы не погасли, они только потускнели и часто мигали.

— Что это? — вырвалось у Стива.

— Если это не проделка твоих сообщников, — крикнул Цезарь, — значит настает конец света.

В руках у него откуда-то появился пистолет, дуло которого глядело на Стива.

— Руки!

— Это последняя глупость, которую ты совершаешь, — предупредил Стив возможно спокойнее.

— Руки!

— Дурак, — процедил Стив сквозь зубы, поднимая вверх руки.

Грохот начал утихать, словно откатываясь вдаль. Лампы мигали все реже, но свет их оставался тусклым.

— Наружная дверь! — крикнул вдруг Цезарь. — Райя, ты заперла ее?

— Н-не знаю...

— Застрели его, если шевельнется. — Цезарь поморщился, передавая Райе пистолет. — Я проверю засовы.

Запахнув халат, он направился к двери.

Грохот почти утих, но в коридоре вдруг послышался топот многих ног. Почти тотчас в дверь забарабанили.

— Ложитесь, все ложитесь, — крикнул Стив. — И прочь от двери!

Так как Райя глядела на него непонимающим взглядом, все еще держа наготове пистолет, Стив решился. Сделав молниеносное движение в сторону, он прыгнул к ней, вырвал пистолет и, оттолкнув ее к стене, заставил лечь. И упал рядом сам. И в этот же момент дверь прошили десятки пуль.

Стив взглянул на то место, где только что стоял Цезарь. Его там не было.

В дверь снова забарабанили. Потом стало тихо, и кто-то крикнул:

— Эй, там, мистер Цезарь, если живы! Вам все равно не уйти. Обещаем жизнь, если сдадитесь по-хорошему. И вашу цацу не тронем. Иначе плохо будет и ей, и вам.

Райя шевельнулась и хотела что-то сказать, но Стив прижал палец к губам.

— Отвечайте же! — послышалось за дверью.

— Отвечаем, — шепнул Стив и выстрелил.

За дверью прозвучал сдавленный крик, потом упало что-то тяжелое и тотчас серия ответных пуль, пробив дверь, ударила по мебели и стенам. Теперь Стив разглядел Цезаря. Он

сидел на корточках в углу слева от двери. Место было вполне безопасное, пока дверь выдерживает.

— Отсюда есть какой-нибудь запасной выход? — шепотом спросил Стив, мельком взглянув на Райю.

— Есть потайной ход, но из алькова.

Альков находился как раз напротив двери.

— А наружная дверь прочная?

— Она прочная, но...

Оставалась еще надежда на Тео и Шейкуну, если, конечно, они целы и если нападающих не очень много.

Пули снова прошили дверь. Одна ударила в светильник, и в комнате стало еще темнее.

Стив выжидал, не стрелял, полагая не без оснований, что нападающие не станут больше торчать напротив двери. Их голоса теперь слышались в некотором отдалении.

«Долго это продолжаться не может, — думал Стив. — Банда, по-видимому, устроила взрыв, чтобы проникнуть на территорию монастыря. Взрыв, конечно, слышали в городе. Полиция должна явиться с минуты на минуту. Да и уцелевшие монахи не будут сидеть сложа руки».

— Эй там, — снова послышалось за дверью. Стив выстрелил, не дожидаясь окончания фразы. Болезненный вскрик подтвердил, что и на этот раз пуля кого-то настигла. И снова ответный шквал выстрелов. Несколько пуль свистнули совсем близко.

— Ползите ближе к двери в самый угол, — шепнул Стив Райе. — Здесь опасно. Они поняли, откуда стреляют.

— Я лучше останусь с вами.

— Ползите, говорю вам.

Она повиновалась, с тревогой взглянув на него. Цезарь шевельнулся в своем углу и, распластавшись, пополз вдоль диванов к алькову. Стив подумал, что он пробирается к тайному выходу, но он только подобрался к сумке, лежавшей на одном из диванов, и стянул ее на пол.

Стив приподнялся немного и указал на альков, но Цезарь отрицательно тряхнул головой и бесшумно возвратился на свое место.

За дверью послышалась возня, пули щелкнули по диванам, вдоль которых только что пополз Цезарь. На мгновение стало тихо, и вдруг Стив явственно услышал шорох в алькове. В полумраке трудно было разглядеть, что там происходит, но ему показалось, что роскошное ложе вместе с балдахином изменило положение. За дверью снова послышалась возня, и по каменным плитам пола проволокли что-то тяжелое.

— А ну-ка давай, — громко крикнул кто-то.

Последовал сильный удар в дверь. Она затрещала, но не поддалась.

— Ниже давай!

Стив выстрелил несколько раз подряд. Раздались проклятия, но ответных выстрелов не последовало.

— Идите сюда, быстро, — слышалось сзади.

Стив оглянулся. Ложа с балдахином на месте не было, и снизу в альков проникал слабый свет.

Райя, как тень, скользнула вдоль стены и исчезла в алькове, словно провалилась сквозь землю.

— Цезарь, Стив, быстрее!

Голос ее донесся уже откуда-то снизу.

Цезарь, пригнувшись и волоча за собой сумку, в несколько прыжков пересек комнату. Его красный халат мелькнул в полосе света, идущего снизу, и тоже исчез.

— Стив!

Стив приподнялся, прислушался. За дверью возились и сопели.

«Итак, Цезарь все-таки поверил и не хочет оставлять меня здесь. Первый раунд, кажется, выигран»... Пятясь и не спуская взгляда с двери, Стив отступил к алькову. На месте ложа в полу светлело прямоугольное отверстие.

— Быстрее, Стив!

Это голос Райи. Они ждут и не уходят. Стив шагнул к отверстию. Ступени уходили круто вниз в темноту. У самого выхода к стене прижалась темная фигура с бритой головой и обнаженным плечом — монах. Протискиваясь мимо него, Стив бросил последний взгляд на дверь. Снизу под нее подсовывали что-то. Дверь опять затрещала, и сквозь появившиеся в ней щели из коридора пробилась полоска света.

Стив поднял пистолет, намереваясь выстрелить еще раз, но монах потянул его руку вниз:

— Не надо, сэр. Спускайтесь быстрее!

Стив повиновался. Монах поднял над головой круглую плетеную корзину, которую держал в руках, и, размахнувшись, швырнул в сторону двери. Затем пригнулся и принялся вращать небольшое колесо в углублении стены. Над головой Стива слышался знакомый уже шорох, отверстие закрылось, и сверху над ним проехало что-то тяжелое. Очевидно, ложе с балдахином встало на свое место в алькове. Грохот и торжествующие крики, донесшиеся сверху, известили, что дверь выломана. Стив начал было спускаться, но его внимание привлек монах, который прижался ухом к крышке люка и внимательно прислушивался к тому, что происходило наверху. А наверху происходило что-то странное: шум и топот нарастали, крики усиливались, но это были уже крики ужаса и боли. Раздалось несколько выстрелов, чей-то пронзительный вопль, удаляющийся топот ног и наступила тишина.

— Кобры, — пояснил монах в ответ на вопросительный взгляд Стива. — Кобры не любят плохих людей...

Узким и извилистым подземным ходом пробирались около часа. Впереди монах с фонарем. За ним Райя, Цезарь в своем бархатном халате с сумкой, перекинутой через плечо. Замыкал шествие Стив с пистолетом в руке. Шли молча. Дыхания Райи почти не было слышно. Цезарь тяжело отдувался и часто вздыхал. Наконец в лицо пахнула парная духота тропической ночи. Монах погасил фонарь. Стив глянул вверх и увидел редкие звезды, просвечивающие сквозь полосы тумана. Они были в каком-то ущелье или в заброшенном карьере. Еще несколько шагов по неровной почве, и впереди матово блеснула спокойная гладь воды. Скальные склоны остались за спиной. Ущербный серп луны, висящий совсем низко над горизонтом, озарял оранжевым светом небольшую полуоткрытую бухту, обрамленную темными берегами, узкую кайму пляжа, цепочку рифов, откуда доносился негромкий гул прибоя.

— Лодки нет, — сказал монах, — надо подождать.

Они присели на песок, еще сохранивший дневное тепло. Стив протянул пистолет Цезарю.

— Возьми.

— Карманов нет, — буркнул тот, — пусть останется у тебя.

Стив сунул пистолет в кобуру под мышкой и лег на спину, положив под голову руки.

— Кассета осталась там? — спросил вдруг Цезарь.

— Моя или ваша?

— Твоя.

Стив похлопал себя по карману:

— Здесь. Вместе с твоим диктофоном.

Цезарь тяжело вздохнул, и снова воцарилось молчание.

Стив пытался сообразить, что собственно произошло... Скорее всего вчерашнее нападение и ночная драка около монастыря были лишь разведкой. Главная операция планировалась на сегодня. Кто-то в монастыре, конечно, связан с бандой. Поэтому местонахождение Цезаря бандитам было известно. И, может быть, действительно его хотели только похитить... Например, чтобы запугать и добиться отказа от наследства... Интересно, кто инициатор? Люц, о котором упоминал Цезарь, или этот анемичный вампир Пэнки? Впрочем, если это попытка похищения, то инициатива могла исходить и от «глубоко верующего католика» Феликса Крукса. Круксу, вероятно, известно, что по собственной воле Цезарь не появился бы в Нью-Йорке. Стив еще и сейчас не был уверен в Фигуранкайне-младшем и в благополучном исходе задуманной авантюры... Он мельком глянул на Цезаря. Тот сидел, сгнүвшись, положив подбородок на острые колени. Что у него в действительности на уме? Неужели, кроме истории Востока и древней буддийской премудрости, его ничто не интересует? А что нашла в нем Райя? Или и тут лишь

женская хитрость и расчет на возможное богатство... Странно, что она без сопротивления отдала ему пистолет...

— Лодка, — произнес монах, вставая.

Невдалеке по гладкой, как зеркало, поверхности воды бесшумно скользила небольшая яхта с выключенным мотором. Спустя несколько минут ее нос с шорохом зарылся в прибрежный песок.

— Куда она пойдет? — спросил Стив, поднимаясь на ноги.

— Это теперь зависит от вас, сэр, — почтительно ответил монах.

— От меня? — Стиву показалось, что он ослышался.

— Конечно. Там ваши люди.

С носа яхты на песок спрыгнул Тео.

— Прошу садиться, — сказал он вежливо.

Стив обрадованно похлопал его по плечу.

— Помогите даме, Тео.

— Делается.

Через минуту все, кроме монаха, были на яхте.

— Прощайте, брат Хионг, — тихо сказала Райя. Она скрестила руки на груди и низко поклонилась монаху.

Цезарь подошел к самому борту и тоже поклонился:

— Спасибо, доктор Хионг, надеюсь, мы еще увидимся и продолжим наши беседы. Пусть хранит вас премудрый Будда.

— Пусть хранит вас обоих премудрый Будда, — как эхо откликнулся монах.

Мотор заработал, и яхта стала быстро отходить от берега.

— Спасибо, — крикнул Стив.

Монах, видимо, не расслышал. Отвернувшись, он уже шагнул в сторону ущелья.

Подошел Тео:

— Пусть леди и господин спустятся в салон; за рифами волна...

— Мы пленники? — спросил Цезарь, не глядя на Стива.

— Не дури, — отрезал Стив. — И вообще, ты мне надоел. Можешь завтра делать все, что придет в твою дурную ученую голову.

— Прости, Стив, — неожиданно сказал Цезарь. — Пойми, меня слишком часто обманывали; в том числе и те, кому я вначале верил. Прости...

— Спускайтесь вниз. Выяснять отношения будем утром. А сейчас постарайтесь отдохнуть.

Им удалось благополучно добраться до Нью-Йорка. Они остановились в отеле «Рузвельт» на 45-й улице. Стив без труда уговорил своих приятелей-журналистов стать на время телохранителями ученого-востоковеда, который прилетел в Нью-Йорк получать наследство. В награду им была обещана сенсация года.

Вскрытие завещания банкира Цезаря Фигуранкайна было назначено на два часа после полудня в четверг.

Наконец четверг наступил. Без пяти минут два Цезарь Фигуранкайн-младший в сопровождении своих «телохранителей» и Стива подъехал на такси к башне Эмпайра. Вокруг стояло множество машин, а в мраморном холле было не протолкнуться. Возле стен над головами торчали блестящие шары юпитеров и возвышались камеры телевизионщиков. Проход к лифтам преграждала цепочка полицейских. Они проверяли документы и пропускали не каждого. Для представителей прессы допуск к лифтам был закрыт. Цезарь в сопровождении своих «телохранителей» протиснулся к цепочке полицейских и протянул паспорт сержанту. Сержант небрежно раскрыл паспорт, замер и вытаращил на Цезаря глаза. Цезарь кивнул на провожатых, сержант вытянулся, с величайшим почтением вернул Цезарю паспорт и лично проводил Цезаря и его «охрану» до лифта. Стив, оставшийся за полицейским кордоном, заметил, что кое-кто из журналистов насторожился. Вслед удаляющемуся Цезарю защелкали фотоаппараты, зажужжало несколько кинокамер.

Стив потолкался среди журналистов, прислушиваясь к разговорам, ловил обрывки фраз.

— Вздор, ничего интересного не произойдет...

— Тогда зачем столько предосторожностей?

— Именно поэтому. Там наверху все давно решено и известно...

— И мы ничего не узнаем.

— Скорее всего...

— А я говорю, он все завещал военным...

— Будет создан специальный фонд Фигуранкайна: премия за новую военную технику. Фигуранкайновская всемирная премия войны, наподобие Нобелевской премии мира... Ха-ха-ха!..

— Если известие о гибели его сына подтвердится...

— Парня, конечно, убрали, как и его папочку...

— Самое пикантное во всей этой истории, господа, как села в лужу «Калифорния таймс»! Три дня назад они опровергли сообщение о смерти молодого Фигуранкайна.

— Ну, как бы там ни было, а миллионы на этом деле они загребли.

— Больше не загребут. Придется сокращать тиражи.

Кто-то потянул Стива за рукав. Стив быстро обернулся. Это был Джон — фотокорреспондент «Бостонских вечерних новостей».

— Привет, Стив. Не знаешь, кто это тут прошел недавно? Такой высокий, моложавый и за ним трое в штатском.

— Успел снять?

— Успел, но не очень удачно. Вполоборота. Кто это?

— Никому не скажешь?

Джон прижал указательный палец к губам,

— Цезарь Фигуранкайн-младший, со своей охраной, — шепнул Стив.

— Что-о? — завопил Джон таким голосом, что вокруг начали оглядываться.

— Ты не расслышал?

— Честно?

— Абсолютно.

— Холера ясная, — пробормотал Джон и растворился в толпе, ожесточенно работая локтями.

Прошло около часа. Стало душновато. Народу все прибывало. Холл глухо гудел. Вдруг в толпе возникло движение. Вспыхнули юпитеры. Стив глянул поверх окружающих его голов. Цепочки полицейских уже не было видно, и корреспонденты теснились возле лифтов.

Внезапно послышался чей-то крик, и толпа шарахнулась к выходам. Стив прижался к стене, чтобы не быть увлеченным общим потоком. Мимо него с трудом протиснулся кто-то из телевизионщиков, возмущенно бормоча:

— Ну чего приклеился! Они уже разъезжаются. Спустились прямо к подземной стоянке.

Через минуту холл почти опустел. Стив поправил на себе плащ. Обнаружил, что не хватает одной пуговицы. Осмотрелся и увидел ее в нескольких шагах на мраморном полу. Подняв пуговицу, он хотел пройти к лифтам, но из центрального лифта выскочил один из «телохранителей» — Бен Килл и, увидев Стива, бегом направился к нему. Лицо Бена сияло так, словно наследство получил он сам.

— Ну что? — спросил Стив.

— Ох, колоссально! — Бен с трудом перевел дыхание. — Ну ты и молоток, Стив! Если бы мы только знали...

— Порядок?

— Полный. Все ему. И, знаешь, он их сразу всех в горсть. Кто бы мог подумать! Железная хватка. А ты: востоковед, ученый... И, знаешь, я даже поверил. Он и мне сначала показался каким-то малохольным. Там, в этом синклите, был один длинный старик с оттопыренными ушами, вот так, — Бен приложил ладони к своим собственным ушам, чтобы изобразить уши старика...

— Мистер Пэнки?

— Он самый... Так он сначала глядел на Цезаря как удав на кролика, а под конец прослезился, расцеловал его и сказал, что новый глава концерна может рассчитывать на него, как на самого себя. А в конце заседания крикнул: «Цезарь умер, да здравствует Цезарь!» И все стали аплодировать.

— Так и должно быть, — сказал Стив, с трудом пытаюсь скрыть охватившее его волнение. — Ты, Бен, сейчас, конечно, к телетайпу?

— Само собой... Цезарь отпустил меня до вечера. Да, Стив, он велел передать тебе, чтобы ты сейчас ехал в отель

«Амбассадор». Там будет прием для самых избранных. Цезарь ждет тебя... Чао!

Бен исчез. Стив неторопливо направился к выходу. Прием в «Амбассадоре». Этот отель — святая святых американского большого бизнеса. Будут, конечно, и Феликс Крукс и Пэнки. Что Цезарь задумал? Следует ли так сразу раскрывать себя? Крукс, без сомнения, его хорошо помнит... Где-то в подсознании таилась мысль, что сейчас появиться на сцене еще рано. Черт бы побрал этого Цезаря! Не успел выплыть на поверхность и уже торопится. Этот вариант с приемом они не предусмотрели... Непростительная ошибка. Что Цезарь мог ляпнуть о нем Феликсу Круксу?

Стив не спеша шагал вверх по Пятой авеню в сторону «Рузвельта». Из-за облаков проглянуло низкое уже солнце, осветило верхние этажи по правой стороне улицы. Там, высоко наверху, оконные стекла превратились в чистое золото... Золото... Стив подумал, что теперь Цезарь, если захочет, сможет выстроить себе дом с настоящими золотыми окнами. Интересно, хватит ли у него отваги и сил? Стив усмехнулся: «Ведь самое простое — ограничиться первым пунктом их программы... Просто, безопасно и, главное, никаких хлопот... Машина отрегулирована. Действительно ли безопасно? Ну, если этот Пэнки говорил искренне, скорее всего так и есть».

Стив вдруг почувствовал томящую усталость... Не окажется ли он в роли доброго и глупого волшебника, который подарил маленькому злему мальчику волшебную палочку, исполняющую все желания? Ну, в этом случае палочка должна сработать прежде всего против самого волшебника... Что ж, будущее вскоре покажет... И Райя, что ждет теперь ее? Впрочем, почему Райя? Мэй...

А если плюнуть на все? Пока еще не поздно, выйти из этой игры?.. Сейчас у него есть кое-какие деньги. Поначалу им с Мэй хватило бы. Можно попытаться написать книгу. Материала предостаточно... Или потом он всю жизнь будет жалеть, что не использовал единственный представившийся ему настоящий шанс? Улица снова стала сумрачной. Окна наверху погасли. Солнце ушло за облака. Что же делать?.. Если и сегодня не дозвонюсь, надо будет послать Мэй телеграмму. А сейчас, пожалуй, самое правильное зайти в «Рузвельт» и позвонить оттуда Цезарю в «Амбассадор». Стив решительно свернул на 45-ю улицу.

Холл «Рузвельта» был почти пуст. Стив направился прямо к лифтам, но навстречу ему из кресел, стоящих в холле, поднялись двое в штатском.

— Стив Роулинг?

Стив замер на месте. Он же зарегистрирован в этом отеле как Хорхе де Эспиноза. Впрочем, в кармане его настоящий паспорт. Стив инстинктивно протянул руку к карману, чтобы убедиться.

В спину уткнулось что-то твердое.

— Не шевелиться. Уголовная полиция. Вот ордер на арест. Тот, что оказался впереди, протянул Стиву какую-то бумагу. Стив машинально взял ее, хотел развернуть, и на запястьях у него с легким треском защелкнулись наручники.

— В первый раз попадаетея, — усмехнулся второй, выступая вперед и пряча пистолет. — Бывалого на такую приманку не возьмешь, Билл. — Он запустил руку под пиджак Стива, ловко извлек пистолет и бумажник.

— Все в порядке. Этот самый, — добавил он, листая паспорт. — Пошли.

— В чем дело, ребята? — поинтересовался Стив, продолжая держать в скованных руках свернутую вчетверо бумагу.

— Там написано, — сказал тот, которого назвали Биллом. — Давай идем.

— Все-таки объясните сначала, — настаивал Стив. — Не



Рисунок В. Трилесского

хотел бы вас расстраивать, но вы больше похожи на гангстеров, чем на полицейских. Я еще могу поднять шум.

Билл грязно выругался, но второй взял бумагу из рук Стива, развернул и поднес ему к глазам.

— Вот читай: ордер прокурора на арест. Тут твоя фамилия и прочее. Прочитал? И вот дальше: «Арестовать по подозрению в убийстве Карлоса де Эспинозы — кардинала римско-католической церкви».

— Неплохо сработано, — сказал Стив. — Интересно, когда его успели убить?

— Тебе лучше знать, — отрезал Билл. — Пошли.

«Что же это такое? — думал Стив, направляясь со своими провожатыми к двери. — Недоразумение, провокация или... или сработала волшебная палочка в руках злого мальчишки?..»

Что теперь следует предпринять? Решение пришло мгновенно, когда полицейский уже приоткрывал выходную дверь, чтобы пропустить Стива. Сан чин-до! Не напрасно же Тео тренировал его! Как называется этот прием, когда нельзя воспользоваться руками? Впрочем, какая разница... Стив позволил себе только одно небольшое отклонение от канонов сан чин-до. Он не предупредил противников угрожающим окриком. Молниеносное движение правой и левой ногой. Билл и его коллега согнулись пополам и без звука ткнулись головами в мраморный пол. Теперь наручники... В сан чин-до это делается так... Стив зацепил левый браслет за массивную дверную ручку и сделал то самое движение, которое они почти ежедневно тренировали с Тео. Браслет треснул, как яичная скорлупа. Руки были свободны. Стив быстро оглянулся. В холле был только портье, застывший за своей стойкой. Он смотрел на Стива широко раскрытыми глазами.

— Через пять минут позвонишь в полицию, — сказал Стив. — И не минутой раньше. Иначе...

Он наклонился, вытащил из кармана неподвижного Билла свой пистолет и паспорт, показал пистолет портье и неторопливо вышел из гостиницы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

У тех, кто дочитал странную историю Стива Роулинга до последней страницы, вероятно, возникли вопросы. Неужели конец? Неужели бегство от полиции — это выход Стива из «игры»? И сам арест?.. В том ли лишь дело, что Стив неудачно сыграл роль кардинала? И, наконец, «ОТРАГ»... Ведь он существует, действует, и, вероятно, ему отведена страшная роль детонатора в термоядерной катастрофе. А Стив и Цезарь еще и не приступили к реализации своих далеко идущих планов.

Конечно, все эти вопросы очень занимают и автора. И, вероятно, ответы на них зависят, главным образом, от того, заинтересует ли дальнейшая судьба Стива Роулинга читателей «Авроры». А может быть, кто-нибудь предложит свой «вариант» дальнейших событий?..

Дар Анны Павловой



На публикуемой фотографии вы видите дарственную надпись: «М. Махониной. На добрую память. А. Павлова. 3.10.1911 г.». Семьдесят лет хранится она в семье Марии Ивановны Махониной. Каким образом рядовая сотрудница Центрального телеграфа, будущая участница Октябрьской революции, получила от знаменитой балерины такой дар?

Нравственные и общественные идеалы Марии Ивановны Махониной формировались под влиянием революционных событий, демократического искусства. Юной телеграфистке, неуемной мечтательнице, хотелось служить людям, революции, приносить пользу обществу. В 1914 году под влиянием этих всевластных чувств девушка оставила работу и добровольно отправилась на фронт сестрой милосердия. В начале 1917 года в город Сарны Волынской губернии, где Мария служила в военном госпитале, стали поступать сообщения о событиях, разворачивающихся в Петрограде, о борьбе революционно настроенных масс, в том числе молодежи, с самодержавием. Девушка захотела вернуться в Питер. Она оставляет армию

и возобновляет прерванную войной работу сначала на Центральном телеграфе, а потом переходит в телеграфное отделение Смольного.

Мария Махонина была незаурядным человеком, с возвышенной душой, с устремленностью к добру, к правде.

Интересны обстоятельства их знакомства. Впервые Махонина увидела знаменитую балерину в благотворительном концерте, устроенном в пользу детей работников сцены. Состоялся концерт в зале Мариинского театра (ныне Театр оперы и балета имени С. М. Кирова) в 1910 году. Вдохновенное искусство балерины потрясло девушку. Ей хотелось с кем-то поделиться своими впечатлениями. Завязалась беседа с сидящими рядом зрителями. Узнав, что девушка из-за недостатка средств не может часто бывать в театре, они пообещали присылать ей абонементы. И слово сдержали.

Юная поклонница балета стала постоянной посетительницей Мариинки. После глубокого впечатления, которое произвела на нее балетная миниатюра «Ночь» Рубинштейна, села за письмо балерине и тут дала свободу чувству и воображению, писала, что молодые зрители из народа преклоняются перед волшебством ее танца. Анна Павлова получила письмо Марии Махониной 2 октября 1911 года, незадолго до начала спектакля «Жизель», который шел с ее участием. А на следующий день она направила свою служанку на телеграф с поручением узнать адрес Махониной. Вечером на квартиру девушки была доставлена фотография.

Знаменитая на весь мир актриса в знак благодарности склонила голову перед неискушенным зрителем из райка. Непосредственность, выгодно отличавшая простую девушку от рафинированной публики, ее преклонение перед прекрасным в жизни и в искусстве, готовность оберегать это прекрасное, самозабвенно служить ему тронули знаменитую балерину, не утратившую живых связей с народом.

Константин Иванов, учитель

МИРНАЯ ПУШКА

В Белоруссию, где весной сорок четвертого года сражался наш 238-й стрелковый полк, я приехал по велению солдатской памяти, чтобы в который раз посетить места боевой славы.

Вечерело, когда я вышел к Днепру. Вдали темнела туча, которую то и дело озаряли вспышки молнии, и оттуда доносились глухие раскаты грома. И вот что мне вспомнилось.

...В мае сорок четвертого года я возвращался из госпиталя на фронт. До Рогачева ехал на поезде. Затем несколько километров добирался на попутных автомашинах. Когда мне надо было поворачивать налево от дороги, я пошел пешком. За развалинами небольшого селения, куда я направлялся, темной грядой возвышался лес. Где-то там, вдалеке, наступал рассвет.

Ничто не тревожило эти предрассветные часы — ни звуки, ни шорохи. Всюду царила дремотная тишина утра. Все было объято безмолвием, все дышало покоем, все цепенело в тихом свете зари, отчего казалось, что война отгремела и наступила мирная

пора. Лесная дорога вела меня к фронту. Лес спал, спали поляны, укрывшись реденькой пеленой тумана. Тишина стояла до звона в ушах. И только яркая полоса зари светилась сквозь стволы и ветки соснового бора. Шагать было легко. Утренняя прохлада бодрила, прогоняя остатки дремоты. С каждой минутой все ширилась, все ярче разгоралась румяная полоска зари, трогая красноватым всполохом макушки сосен.

Вскоре совсем рассвело, но солнце еще не вставало. Туман клубился над розовыми разливами Днепра, отражающими в своей глубине причудливые краски облаков.

Неожиданно из ивняковых зарослей донесся птичий гомон. Я остановился. Смотрю, скворец сидит на самом обрезе ствола брошенной пушки, жерло которой смотрело в весеннее небо. Оказывается, в стволе пушки поселились скворцы, и теперь не снарядами, а птичьим щебетом стреляла некогда грозная зенитка. Глядя на нее, я невольно подумал: «О если бы все жерла пушек, находящихся на войне, стали мирными гнездовьями!»

Ночь застала меня в пути. До переднего края, где находился мой полк, оставалось всего лишь несколько километров, и оттуда все слышнее доносились раскаты артиллерийской канонады. Темное небо то и дело обшаривали ослепительные щупальца прожекторов. Я на ходу наблюдал это знакомое каждому фронтовику зрелище, а в глазах стояла та самая мирная пушка...

Петр Строителев,
инвалид Великой Отечественной войны

Счастье жить под чистым небом

В пятом номере «Авроры» за 1983 год мне понравилась повесть Анатолия Белинского «Там, у Волги-реки». В ней рассказывается о Великой Отечественной войне, о том, как все наши люди — ребята, их отцы и матери, старики — делали все, чтобы спасти Родину, приблизить победу.

Это правильно, когда много пишут о нашей войне с фашизмом; о подвиге советского народа, отстоявшего мир, спасшего цивилизацию. Я и многие мои товарищи, комсомольцы знаменитого горьковского завода «Красное Сормово», стараемся не пропускать произведений, воссоздающих героические страницы истории нашего Отечества, показывающих, какой великой ценой заплатил наш народ за счастье жить под чистым небом.

Молодое поколение, к которому я принадлежу, не знало ужасов войны. Мы благодарны Коммунистической партии, Советскому правительству, делающим все, чтобы не дать агрессивным силам империализма развязать новую войну.

Фая Хусейнова, г. Горький

Страна огней

1

Я прикрываю веки, вспоминая
Окраину Баку — Сураханы,
Где черная качалка нефтяная
Кивала из-за каменной стены.
Там близ дорог — железной и шоссейной,
От станции совсем невдалеке,
Есть храм огнепоклонников музейный,
Где пляшет пламя прямо на песке.
Ему ни дров, ни фитиля не надо —
Промеж песчинок протекает газ.
Стоишь, как зачарованный, и взгляда
Не отведешь — и полчаса, и час.
Там зыбкий свет горит и днем, и ночью,
Там день и ночь, текучи и легки,
От пламени отскакивают клочья,
Как шелковые красные платки.
И, кажется, при всем различье вкусов
И представлений — можно без труда
Понять огнепоклонников-индусов,
В былые дни стекавшихся сюда.
Вдыхая воздух сладостный и горький,
Я думал там: не только для игры
В своей домашней пепельнице Горький
Устраивал потешные костры.
Горит огонь, горит, не уставая,
Рассказывает что-то целый день,
И у него совсем-совсем живая,
Живая человеческая тень.

2

Издалека поверить странно:
Есть близ Баку
Скала — пылающая рана
У ней в боку!

Тот край назвал когда-то кто-то
Страной Огней,
И, говорят, у Геродота
Есть слух о ней.

За все века ни на мгновенье
Огонь не гас:
Сквозь ноздреватые каменья
Струится газ.

Сюда, бывает, приезжают
На пикники,
Люля-кебаб на палках жарят
И шашлыки.

Уедут. Синенькие змейки
Во мгле блестят,
С бутылок пестрые наклейки
Слизнуть хотят.

Ни человека, ни собаки,
И лишь одни
Огни, горящие во мраке,
Огни, огни.

И вновь стоит, ветрам открыта,
Судьба твоя
На раскаленной грани быта
И бытия!

Баллада о звезде

Ушла, смеясь, компания с гитарой,
И долгожданный наступил покой.
Остались двое на скамейке старой
Над задремавшей дымчатой рекой.

Уйдя в себя, молчала вся округа,
А эти двое возле вечных вод —
Они смотрели... нет, не друг на друга:
Куда-то в темно-синий небосвод.

В какую-то невидимую точку
Над кромкой леса, в страшном далеке,
Куда никто не смотрит в одиночку,
А только так — вдвоем, рука в руке.

Живой земли дыхание живое
Струилось и текло... а там, куда
Так пристально смотрели вместе двое,
Зажглась под утро новая звезда.



Как подавляет выставка-громада!
Придешь домой — и рухнешь на кровать,
И вдруг впервые думаешь: не надо,
Уже не надо больше рисовать!
Все сказано, потерян счет победам,
Осталось только руки опустить:
Всего не описать искусствоведам,
Всего музейным залам не вместить.
Уже и так в искусстве и культуре
Недолго заблудиться, как в лесу.
Но где-то мальчик, строго брови хмуря,
Стоит с альбомом, с кистью на весу.
Он хочет миру сообщить немало:
Как дышит степь, как день осенний мглист,
И ничего как будто не бывало —
Есть только он и вечный белый лист!

Открывая новую рубрику, мы предлагаем читателям совместно с авторами критических статей поразмышлять над новыми книгами.

Владимир Дитц

«ПОЭЗИИ РЕБЯЧЕСКИЕ СНЫ...»

Наверное, каждому, кто увидит эти небольшие, красиво оформленные книжечки, непременно захочется их полистать. Они выпускаются издательством «Детская литература» в серии «Поэтическая библиотечка школьника», которая существует уже более полувека. Отлично изданные, — а строго говоря, только так и следует издавать поэтические сборники, — книжки эти уже своим внешним видом подкупают читателя. Приятно взять в руки маленький томик в добротной коленкоровой обложке, перелистать его страницы, и вот ты уже вступил в чудный мир, название которому — Поэзия.

Трудно переоценить ту пользу, которую принесет читателю знакомство с «Поэтической библиотечкой школьника». Перед ним раскроются бесценные сокровища духовной жизни народа. Конечно, юный человек в средней школе уже познакомился, если взять лишь XIX век, с наиболее значительными произведениями наших классиков — Пушкина, Лермонтова, Некрасова... Но отечественная поэзия не исчерпывается только именами, так сказать, первой величины.

Что знают школьники, скажем, об Алексее Константиновиче Толстом? Очень немного. Как и об Афанасии Афанасьевиче Фете, и Федоре Ивановиче Тютчеве. Конечно же, их имена в общем-то известны, некоторые их стихи, а чаще всего отдельные строчки хранятся в памяти с самого раннего детства: «Колокольчики мои, цветики степные...» (Толстой), «Ласточки пропали, а вчера с зарей...» (Фет), «Люблю грозу в начале мая...», «Зима недаром злится...» (Тютчев) и еще кое-что, то есть очень и очень немного. Но знать творчество поэта в его уже, скажем, «более взрослых» произведениях, хотя бы в основном объеме, остается уделом немногих.

Ф. И. Тютчеву, А. К. Толстому, А. А. Фету, можно сказать, еще повезло. В школьном учебнике по литературе для 9-го класса им уделено по несколько страниц. Я знаю, что многие учителя эти разделы вынуждены пропускать: не до Тютчева и Фета, успеть бы «пройти» Некрасова, того и гляди на Чехова времени не останется в конце года... Что же говорить об А. Н. Майкове, Я. П. Полонском, А. Н. Плещееве?! Или об Е. А. Баратынском, А. В. Кольцове, И. С. Никитине?!

Конечно, программу нельзя «растягивать» до бесконечности. По неволе приходится устанавливать границы, чтобы сокращать, отсекал, резать по живому. Что там говорить, три гениальных поэта России — Пушкин, Лермонтов и Некрасов — оттеснили на второй план даже такие большие таланты, как Баратынский, Кольцов, Тютчев, А. К. Толстой, Фет. Мы подчас откладываем, если так позволительно выразиться, «в запасники» подлинно прекрасные литературные явления, огромные таланты, как это мы сделали с великим русским романистом И. А. Гончаровым, изъяв его из программы старших классов средней школы, и даже не пытались включить туда Н. С. Лескова, Глеба Успенского, В. Г. Короленко, А. И. Куприна, И. А. Бунина.

И тем не менее все это тоже классика, только не изучаемая в классах. Минуя обязательные программы, она приходит к нам не с парадного школьного входа, но тоже принимает участие в формировании духовного мира подростка. И в этом немалая заслуга «Поэтической библиотечки школьника».

Вот, к примеру, стихи Евгения Баратынского. Они и по сей день вызывают живой интерес, их часто цитируют, отдельные строчки стали крылатыми. Мы говорим: «век шествует путем своим железным», «исчезнули при свете просвещения поэзии ребяческие сны». Строки взяты из его стихотворения «Последний поэт». На слова Баратынского гениальный Глинка создал один из своих шедевров — романс «Не искушай меня без нужды...» («Разуверение»). Любовная лирика Баратынского в лучших своих образцах способна соперничать даже с пушкинской и лермонтовской.

Муза Баратынского, обладающего, используя его же выражение, «лица не общим выраженьем», и сегодня наша желанная собеседница. Все современники этого поэта высоко ценили его поэзию. Среди них был и сам Пушкин. Так, по поводу элегии «Признание» Пушкин писал: «Баратынский прелесть и чудо, „Признание“ — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий...» С Пушкиным солидарен и такой взыскательный критик, как Белинский. Со всей категоричностью, присущей ему, он утверждает: «Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит Баратынскому...»

В «Поэтической библиотечке школьника» вышли многие десятки сборников лирики поэтов XIX века. По существу, ни один заметный поэт не выпал из поля зрения издателей этой серии. Творчество любого из них — живая часть духовного наследия нашего народа.

Выпуск каждой книжки «Поэтической библиотечки школьника» — результат большой и кропотливой работы многих людей. Стремясь представить творчество поэта наиболее полно, отобрать самое ценное, самое интересное, составители испытывали немалые трудности: нужно было постоянно «оглядываться» на отведенную печатную

площадь, которая диктовала жесткий отбор. Но возникают и возражения.

В творческой биографии крупного русского советского поэта В. Я. Брюсова стихотворение «России» играет важную роль, оно знаменует особый этап в жизни поэта. Брюсов написал его в первые годы революции. Мне, например, кажется, что так же, как позднего Блока нельзя представить без «Скифов», так и Брюсова без его «России». И, думается, не случайно эти два произведения оказались созвучны друг другу не только идейным пафосом, но даже тематически, хотя бы в отдельных своих частях. Например, такие строки «Скифов» Блока: «Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас — монголов и Европы» — прямо перекликаются со второй строфой стихотворения Брюсова «России»:

Россия! в злые дни Батыя,
Кто, кто монгольскому потоку
Возвел плотину, как не ты?
Чья, в напряженной воле, выя,
За плату рабств, спасла Европу
От Чингиз-хановой пяты?..

А эти строки из «России»:

И вновь, в час мировой расплаты,
Дыша сквозь пушечные дула,
Огня твоя хлебнула грудь, —
Всех впереди, страна-вожатый,
Над мраком факел ты взметнула,
Народам озаряя путь.

— были написаны неизвестным воином на стене рейхстага поверженного Берлина в 1945 году. Конечно, это стихотворение Брюсова с нужными комментариями следовало бы включить в сборник (составитель его Н. В. Банников).

Книжка стихотворений Демьяна Бедного в этом отношении наиболее уязвима. Имя этого поэта в годы Октябрьской революции и гражданской войны было самым популярным в широких народных массах. Именно тогда им были созданы такие замечательные произведения, впоследствии вошедшие во все хрестоматии, как «На защиту красного Питера!», «Коммунистическая марсельеза», «Честь красноармейцу», «Генерал Шкура» и, конечно же, знаменитые «Манифест Юденича» и «Манифест барона фон Врангеля», облетевшие все фронты. И жаль, конечно, что ни одно из этих знаменитых стихотворений, написанных в годы гражданской войны, не вошло в сборник.

Советский поэт Дмитрий Кедрин прожил недолгую жизнь, она трагически оборвалась в 38 лет. Но тем не менее Кедрин оставил немалое литературное наследие: стихи, баллады, поэмы из русской истории, гражданская, пейзажная, любовная лирика, большая пьеса в стихах «Рембрандт». Занимался он и переводами.

Много патриотических произведений создал Кедрин во время Великой Отечественной войны. Среди них «Колокол», «Родина», «Глухота», «Мать», «Аленушка» с ее удивительным зачином:

Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царевна Несмеяна —
Родина неяркая моя!

Все эти стихотворения вошли в книжку стихов Кедрина (составитель С. А. Лурье). Однако приходится сожалеть, что не нашлось места таким произведениям, как «Дума о России», где поэт вспоминает историю нашей страны, воспекает негибемое мужество и стойкость русского народа перед лицом захватчиков, и особенно «Князь Василько Ростовский». Эта историческая баллада прославляет подвиг русского князя Василька Ростовского, попавшего в плен к татарам. Когда Батый в знак уважения перед отвагой русского князя даровал ему жизнь, распорядившись оставить его у себя на службе, герой отказывается принять «милость» из рук поработителя. Он погибает с мыслью:

Сплотится Русь и вынет
Единый меч. Тогда,
Подобно дыму, сгинет,
Батый, твоя орда!..

Подробно хотелось бы сказать о комментариях. В «Поэтической библиотечке школьника» они различны: от скупых пояснений в несколько слов (как в книжке Тютчева) до обширных примечаний (как в сборниках Баратынского, А. К. Толстого, «Лирика декабристов»).

Думается, что в изданиях такого рода комментарии чем обширнее, тем лучше. Ведь серия рассчитана на читателя недостаточно опытного. Очень может быть, что книга этой серии станет для юного человека первым серьезным знакомством с поэтом. В таких изданиях нужны не просто объяснения отдельных непонятных слов и выражений — чаще всего архаизмов, иностранных слов, собственных имен, связанных с библейскими сюжетами, с мифологией, но и примечания более широкого плана, где были бы даны и факты биографии поэта, нашедшие отражение в произведениях, и указания на связь этих произведений с другими видами искусства — живописью или музыкой, и, наконец, отзывы великих людей, в том числе писателей. Разве не интересно нам увидеть, например, Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Горького и других в роли читателей? Их оценки, их симпатии не могут нас оставить равнодушными.

Гоголь, например, особую любовь питал к стихам Н. М. Языкова, он считал его лучшим поэтом среди современников — после Пушкина, разумеется. Особенно ему нравилось стихотворение «Землетрясение», которое он считал лучшим русским стихотворением вообще. К моему удивлению, составитель почему-то не включил его в книжку.

Лев Толстой, как известно, относился к поэзии довольно сдержанно. Однако для некоторых авторов он делал исключения и понравившиеся стихи любил читать и перечитывать по многу раз. Молодому Горькому он советовал «учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина». Горький же в письме Бунину, восторгаясь его прозой и стихами, делает такой вывод: «Ведь вы для меня великий поэт, первый поэт наших дней». Интересно, разумеется, узнать, что Л. Н. Толстой, по свидетельству того же Горького, очень любил

стихотворение молодого Бунина «Не видно птиц. Покорно чахнет...»

Отзывы великих писателей, споры вокруг того или иного произведения — не просто любопытно узнать, но это в свою очередь обогатит наше представление о литературе, о самих писателях. Так, к примеру, едва ли не самое известное стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье...» вызвало резко отрицательную оценку у ряда литераторов. Пожалуй, ни одно стихотворение в России не пародировалось так часто, как это. Читателю, наверно, интересно будет узнать, что среди ценителей этого стихотворения, как об этом сказано в комментарии (их автор В. Коровин), были писатели такого масштаба, как Лев Толстой, Салтыков-Щедрин и Достоевский — люди чрезвычайно разные по своим литературным вкусам и убеждениям.

Сделаю небольшое отступление.

В жизни многих русских поэтов были свои Беатриче и Лауры. Они были источником вдохновения для тех, чью лирику мы сейчас глубоко почитаем и любим. Об Анне Керн, конечно, знают все школьники (стихотворение «Я помню чудное мгновенье» входит в программу по литературе). Так же, как, наверно, слышали и о Любви Дмитриевне Менделеевой-Блок: поэтический цикл «Стихи о Прекрасной Даме» и многие отдельные стихотворения связаны у Блока с этим именем.

Но вот кто такая Елена Александровна Денисьева и какова ее роль в жизни и творчестве Ф. И. Тютчева? Еще меньше школьники знают о Софье Андреевне Миллер, урожденной Бахметьевой, вдохновлявшей А. К. Толстого, а также о Марии Лазич, с именем которой связаны многие прекрасные стихи Фета.

Лирика потому и есть лирика, что поэт делает свой внутренний мир, свое личное, сокровенное — достоянием других. Вот почему становятся вовсе не лишними такие, скажем, сведения, какими снабдил К. П. Орешкин стихотворение А. К. Толстого «Средь шумного бала»: «Первое из стихотворений, обращенных к Софье Андреевне, жене А. К. Толстого. Поэт познакомился с нею на маскараде в начале 1850-х годов, в Петербурге». А стихотворение «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!..» имеет пояснение: «О молодости Софьи Андреевны известно немного. Получив хорошее образование, овладев несколькими европейскими языками, девушка была выдана за нелюбимого. Ее брат, защищая сестру, погиб на дуэли. Первый муж Софьи Андреевны, конногвардейский полковник Миллер, долгое время отказывал ей в разводе. Двенадцать лет упорной борьбы за свободу любимой женщины предшествовали заключению брака между А. К. Толстым и его избранницей». С именем этой женщины связаны, по существу, все стихи поэта на любовную тему, начиная со знаменитого «Средь шумного бала...»

Я заметил, когда берешь в руки томик стихов А. К. Толстого, всегда возникает в душе какое-то светлое, возвышенное чувство. Таково уж воздействие личности и стихов этого удивительного поэта, в котором И. С. Тургенев увидел натуру «идеальную, рыцарски благородную». Знакомства с таким лириком можно только желать, как говорили в старину, изо всей силы.

Книжечка стихов А. К. Толстого — самая тонкая в этой серии. В нее не вошли такие прекрасные стихотворения, как «Ты знаешь край, где все обильем дышит...», «Источник за вишневым садом...», «В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба...», «Запад

гаснет вдали бледно-розовый...» И, наконец, что совсем уже странно, нет знаменитых «Колодников» («Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, — колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль...»). Это стихотворение было одной из самых популярных песен политических каторжан и ссыльных. Ее пели с припевом после каждого куплета:

Динь-бом, динь-бом — слышен звон кандалный,
Динь-бом, динь-бом — путь сибирский дальний,
Динь-бом, динь-бом — слышно там и тут,
Нашего товарища на каторгу ведут.

Песню эту любил В. И. Ленин...

В таких изданиях, как «Поэтическая библиотечка школьника», исключительная роль принадлежит также вступительным статьям. Они призваны не просто познакомить читателя с жизненным и творческим путем поэта, но и ввести в мир его художественных открытий, показать своеобразие, а в ряде случаев и сложность, противоречивость творчества художника. В этом отношении большой интерес представляют вступительная статья и примечания к книжке Баратынского, написанные известным советским исследователем С. М. Бонди. Он не скрывает недостатки стихов позднего Баратынского.

Во всей сложности предстает перед читателем творческий путь большого русского писателя Ивана Бунина в интересной и поучительной вступительной статье Н. В. Банникова. Он не пытается сделать этого поэта «удобным» для современного восприятия: очистить от заблуждений, смягчить его непримиримость к новейшим литературным веяниям и т. д. Так, в начале своего творческого пути Бунин проявляет интерес к символистам, но впоследствии, пишет в своей статье Н. В. Банников, «решительно отвергает и символизм и футуризм, видя в них „вальпургиеву ночь“, варварское посягательство на устои русской культуры и языка. Он даже сбрасывал со счетов истинные достижения таких выдающихся и не похожих друг на друга поэтов, как Блок и Брюсов, Маяковский и Есенин. Сначала они вызывали у него резкое осуждение как нарушители литературных традиций, а потом и как писатели, вставшие на сторону революции».

Чем ближе поэт к нашему времени, тем, естественно, меньше потребность в пояснениях. Если стихотворения М. Исаковского или Я. Смелякова вряд ли нуждаются в примечаниях, то произведения Э. Багрицкого без них не обойдутся. Но в новом издании комментария не оказалось (в отличие от предыдущего сборника, изданного в этой же серии в 1960 году).

Не лишним было бы сделать более обстоятельными и комментарии к стихам Дмитрия Кедрина. Стихотворение «Кукла» нуждается хотя бы в примечании, ведь с него началась известность поэта, это стихотворение очень любил Горький.

Большое стихотворение Кедрина «Грибоедов» комментарием снабжено. Но пояснено далеко не все, что следовало бы.

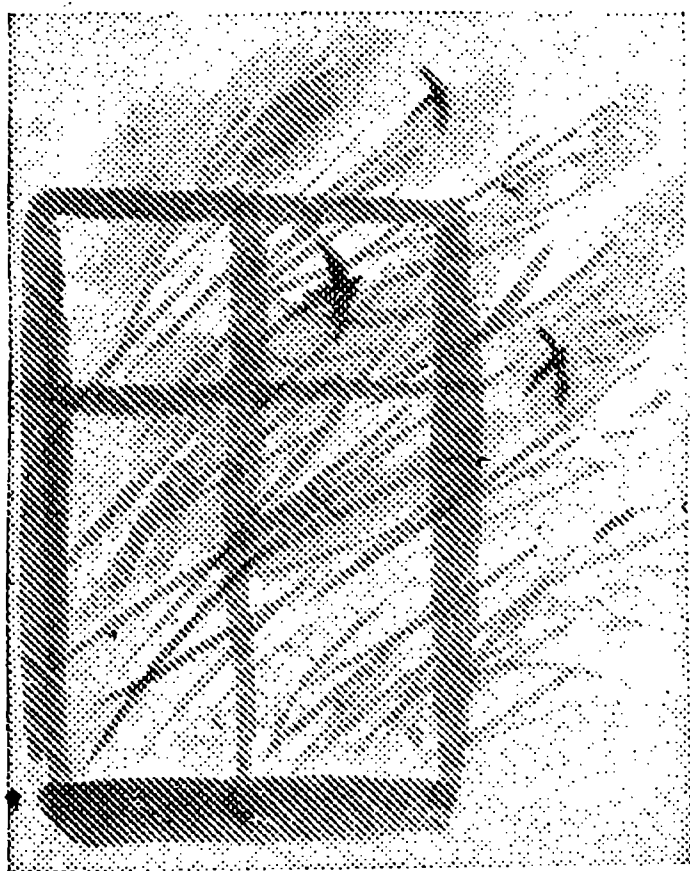
Стихотворение «Грибоедов» пестрит собственными именами, фактами личной биографии великого драматурга. Здесь многое нуждается в пояснении. Автор примечаний, к сожалению, не делает этого, мотивируя, что стихотворение написано Кедриним «под впечатлением от книги Юрия Тынянова „Смерть Вазир-Мухтара“» и

что «упоминаемые лица и роль их в биографии автора „Горя от ума“ освещены романистом и сделались общеизвестны». Вместо объяснения вас отсылают к роману: мол, почитайте (или перечитайте, если забыли) роман Тынянова и поймете все стихотворение, в том числе и первую строчку: «Помыкает Паскевич, клеветает опальный Ермолов» — и кто они такие, и почему один «клеветает», а другой «помыкает»? В стихотворении «В парке», где есть строчки: «Под этими липами Пушкин грустил» и «Где близкие наши и наши друзья? Иных уже нет, иные далече», Кедрин не только упоминает Пушкина, но и вспоминает его слова из «Евгения Онегина»: «Иных уж нет, а те далече...». Это тоже стоило бы отметить в комментарии.

Из года в год улучшается качество издания «Поэтической библиотечки школьника», растет ее популярность. И главная цель моей статьи — способствовать этой популярности, увеличить число тех читателей, кто будет увлечен «искусством творческим, высоким и прекрасным», как сказал А. С. Грибоедов.

Читайте «Поэтическую библиотечку», дружите с ней. Дружба эта принесет вам много радости.

Фанис ЯРУЛЛИН



У ленинградских писателей с писателями Татарии давние творческие связи. Ленинградцы переводили и классиков татарской поэзии, и первая книга стихов на русском языке тогда еще молодого поэта Заки Нури, участника войны — разведчика в партизанском отряде Заслонова, вышла в Ленинграде. И нас переводили татарские друзья. Моя же связь с Казанью тем более крепка, что я там родилась, и хотя родители увезли меня из Казани лет пяти и я долгие годы не возвращалась, но новая встреча с Татарией уже много лет назад сразу закрепила нашу дружбу и ленинской темой («Повесть о матери»), и взаимным интересом к творчеству друг друга.

Новый день

В комнату мою ворвался
Ясный свет зари.
С чем же ты сейчас примчался?
Что же, говори!

Если ты принес беспечность, —
Уходи назад,
Грезы легкой быстротечность, —
Уходи назад.

Славу прежних достижений, —
Уходи назад.
И довольство без сомнений, —
Уходи назад.

Если в путь зовешь, тревожно
Торопись, горя.
К новым поискам — я тоже
За тобой, заря!

Мое счастье

Если я не встану
раньше солнца
И росой холодной не умоюсь,

Кажется, что жизнь моя короче,
День темнее и грозит бедою.

Если я не первый на работе,
Если я работаю вполсилы,
Кажется дорогою открытий
Не моя тропинка проходила.

Если от удачи я зазнался,
День в безделье
потерял невольно,

Знаю:
стал я жалким и несчастным!
Обделил я общее застолье.

Любовь

Не смотрел я в твои глаза,
Только ввысь
я взглянул в смятенье, —
В небе вспыхнула бирюза —
Твоих глаз отраженье.

Я не гладил твоих волос,
Я коснулся воды рукою, —

„Если в путь зовешь...“

Однажды я попала в Казань в День поэзии и на площади Тукая прочла свой перевод стихов Фаниса Яруллина «Устаю порой бродить лесами». Удивило, что автора нет на празднике. И только тут мне рассказали, что молодой поэт, привлекавший меня оптимизмом и лиричностью стихов, уже несколько лет не поднимается с постели. Повреждение позвоночника (он неудачно упал) обернулось параличом.

В конце праздника ко мне подошла, как показалось, девочка и назвалась женой Яруллина. Пригласила к себе.

Это была встреча с татарским Николаем Островским, с той разницей, что Фанис не был слеп, но едва владел руками.

Милая Нурсия — его жена — стала его жизнью, его силой. Оба верили во все хорошее, были неумолимы в работе. Я не почувствовала ничего показного в этой молодой, полной жажды деятельности семье. Хорошо, что есть на свете такие женщины, как Нурсия Яруллина, ставшие вторым сердцем своих мужей. Хорошо, что мы живем в советской стране, где твои товарищи окружают тебя заботой. Фанис окончил университет, пишет прозу и стихи. Он автор нескольких книг на родном языке, и жаль, что русский читатель знает его только по отдельным публикациям в журналах. Давно пора выйти его книге стихов на русском языке. Я с радостью всегда перевожу их.

Море лаской отозвалось
В сердце шелковою волною.

Целовать не посмел тебя,
Пламень губ не остудят реки.
В жизнь мою пролилась, любя,
Ты живою водой навеки.

□

Помоги!

На березу я горе взвалил, —
Гнется. Ноша и ей нелегка.
Облакам отдаю,
чтобы мне помогли, —
Но дождем пролились облака.

Отдал матери горе
до самого дна.
Не сумел я ее поберечь.
Все снесла.

Не сломалась.
Любовью сильна

Нежность
маминых худеньких плеч.

□

Устаю порой бродить лесами,
Видно, стал нетерпеливым я.
Будешь слушать

долгими часами,
Надоеет и песня соловья.
Звезды могут меркнуть, уверяю,
Если смотришь,

смотришь без конца...
Лучшие цветы надоедают,
День-деньской

маяча у крыльца.
Может мне наскучить
вся округа,
Лес, поля и птицы, но, не лгу, —
Я бы умер,
если б жил без друга.
Без людей и часа не могу.

Предисловие и перевод
с татарского
Елены Вечтомовой

«Любите ли вы театр?..» Вот уже несколько лет «Аврора» ведет эту рубрику. И за это время ни один из читателей не написал: «Нет, не люблю!» В нашей почте много писем, в которых авторы выражают свое отношение к театру эмоционально, даже восторженно. Но есть и такие, где сделана читательская попытка проанализировать творчество того или иного коллектива, поделиться мыслями о проблемах его развития, рассказать о спектаклях. Вот такие два письма о творчестве Ленинградского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева мы и предлагаем вашему вниманию.

Здравствуй, дорогая редакция!

Я являюсь постоянным читателем журнала «Аврора», особенно мне нравится рубрика «Любите ли вы театр?..» Было бы очень интересно узнать мнение зрителей об их любимых театрах. Я очень люблю театр, но особенно мне нравится Ленинградский ТЮЗ. Считается, что ТЮЗ — театр для детей, но это не совсем верно. ТЮЗ — это театр разных поколений.

В жизни случилось так, что я вынуждена была уехать из Ленинграда, но, возвратившись, я в первую очередь пошла в ТЮЗ. В этот театр я впервые пришла три года назад, смотрела спектакль «На два голоса». Он потряс меня до глубины души, я шла по морозной Пионерской площади, а перед глазами была сцена. Этот спектакль отвечал моим самым сокровенным мыслям, дал мне ответ на многие вопросы.

Для меня день, когда я иду в ТЮЗ, — праздник, и настроение становится праздничным еще накануне. Я всегда с нетерпением жду встречи с моим театром. Здесь любят и уважают зрителя, какого бы возраста он ни был, здесь себя чувствуешь сотворцом.

Спектакли в ТЮЗе бывают разные: веселые и грустные, лирические и игровые. Но все они — неповторимы. Все равно, кто вы — ребенок или взрослый, юноша или старичок, вас не оставят равнодушными спектакли «Наш цирк», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!..», «Открытый урок», «Дети, дети, дети...», «Комедия ошибок», «Бонжур, месье Перро!» и многие-многие другие. И я совершенно согласна с делегатами ТЮЗа, которые говорят:

*Из детства нам осталось
сделать только шаг,
нас жизнь подхватит
и закрутит,
и будет все у нас иначе и не так,
но ТЮЗ нам снова нужен будет!*

Да, тот, кто полюбил ТЮЗ, уже не разлюбит его всю жизнь.

*С уважением — Порницкая Наталья,
воспитатель детского сада, 20 лет, г. Череповец*

Уважаемая редакция «Авроры»!

Последнее время я беспрерывно слышу о Делегатском собрании в ТЮЗе, этом знаменитом «зрительском парламенте». И знаете, ста-

новится. скучно слышать и читать на протяжении многих лет одни и те же слова о зрительском активе, его устройстве...

Делегатское собрание и разговоры о нем начинают заслонять, по-моему, сам театр. А ведь ТЮЗ — это в первую очередь театр, и именно театральное искусство собирает вместе делегатов, объединяет их. Но кажется мне, что само искусство слабеет, а значит, и это объединение неминуемо начнет слабеть. Р. А. Быков в книге «Наш друг — театр» справедливо замечает, что по А. А. Брянцеву, основоположнику Ленинградского театра юных зрителей, ТЮЗ должен быть «прежде всего театром — искусством». Нынешний главный режиссер ТЮЗа З. Я. Корогодский, пропагандируя Делегатское собрание, становится уже больше педагогом, чем художником, соответственно и театр превращается в педагогическое заведение.

ЛенТЮЗ, по-моему, забывает, что он прежде всего театр, а не школа, или уж если школа, то эстетическая. ТЮЗ должен учить, оставаясь театром, учить своим искусством, а лучше бы не только учить, но и творить, заражать, увлекать, покорять своим искусством ребят.

...Раньше ТЮЗ заставлял думать своих зрителей, а теперь он, в основном, развлекает их. Раньше тюзовские зрители сопереживали героям спектаклей, вместе с ними плакали и смеялись. А теперь чаще ждут, чтоб их развлекали. Раньше в ТЮЗе шли «Гамлет», «А зори здесь тихие...», «После казни прошу...», «Глоток свободы», были спектакли по пьесам А. Островского, М. Шатрова. Теперь идет еще «Гибель эскадры», еще показывается в новой редакции «Борис Годунов», существует недавняя постановка по роману Ю. Трифонова «Нетерпение» (кстати, спектакль очень интересный), идут «Тени» по Салтыкову-Щедрину. Еще хорошо, что более или менее регулярно идет «Профессия Айзека Азимова».

Остальные же спектакли — «Наш цирк», «Наш Чуковский», «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!..» — по сути, это даже и не спектакли, а актерская школа, зачем-то вынесенная на сцену. Я не против этих спектаклей, но их должно быть меньше, а истинно серьезных постановок — больше. Юным зрителям еще рано (хотя, впрочем, лучше, если бы этого не было вообще) отдыхать в театре, им нужны напряженные, волнующие, задевающие за живое спектакли. А в ТЮЗе, если уж ставят сегодня Шекспира, то обязательно — комедию. Если говорят о чем-то серьезном, то так, чтобы зрители не перетрудились, думая; добавляют капельку серьезного в массу юмора и шуток, так что порой это серьезное бесследно растворяется, как в «Открытом уроке». А после спектакля «Дети, дети, дети...», в котором серьезное и драматичное выдается маленькими дозами, перемежаясь бесконечными развлечениями публики, я слышала такую фразу: «Хороший спектакль — можно посмеяться».

Да еще, поверьте, школьникам интересны спектакли, рассказывающие про взрослых людей, тем более что хороших «школьных» пьес и спектаклей, правдиво рассказывающих ребятам о них самих, почти нет. Единственный хороший спектакль, который мне довелось видеть, — это постановка Орловского ТЮЗа по пьесе А. Ремеза «И был выпускной вечер...». А таких спектаклей в Ленинградском ТЮЗе мало, разве что «Ночь после выпуска».

В нашем ТЮЗе не хватает серьезных драм, даже трагедий. Не знаю, как другие постоянные зрители ТЮЗа, а я в последнее время испытываю сильнейший голод по таким спектаклям. Конечно, я хожу в другие театры и смотрю серьезные спектакли там (и в дру-

гих театрах их, правда, не так уж много, особенно хороших; развлекательность большинства постановок — болезнь почти всех театров, по крайней мере Ленинграда).

Наш ТЮЗ — один из старейших ТЮЗов страны, с него берут пример. Поэтому он должен быть все время хоть чуть-чуть впереди остальных, а не наоборот.

Мне кажется, ТЮЗ облегчает себе работу, ориентируясь на делегатов. Делегаты — это лишь малая часть зрителей (они есть даже не в каждой школе), причем зрителей, увлеченных театром, чаще всего пристрастных. Я тоже пристрастна, хотя делегатом никогда не была. Я всегда с жаром отстаивала правоту ТЮЗа, даже не будучи в каком-то конкретном случае до конца в ней уверена, отстаивала просто потому, что это мой ТЮЗ. Таких пристрастных зрителей довольно много. А вот попробовали бы в ТЮЗе взять целый зал равнодушных, не увлеченных театром людей, да и сумели бы заразить, увлечь, покорить их своим искусством.

Мне очень жаль, что именно о нашем ТЮЗе, который я люблю и знаю с детства, я вынуждена была написать все это. Но я надеюсь, что критический взгляд нужнее и полезнее этому театру, чем слепая любовь к нему. Я и сейчас люблю наш ТЮЗ, но уже иначе, чем прежде. Я благодарна ему за то, что он привлек меня к театру, с него началось мое увлечение театральным искусством вообще. Поэтому я и написала это письмо.

С уважением — Цвинтарная Ольга,
20 лет, лаборант, г. Ленинград

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА

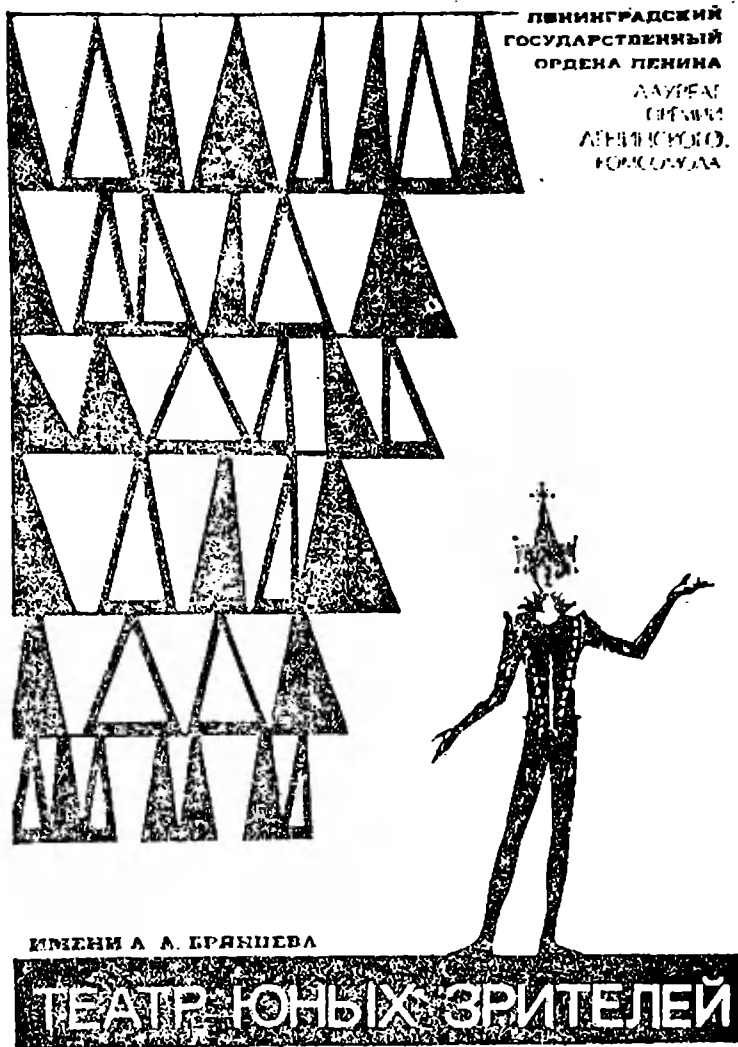
Вот такие — взаимоисключающие — мнения при полном уважении авторов писем к Ленинградскому ТЮЗу. В позициях наших корреспондентов необходимо разобраться. Любить свой театр — это прекрасно! Защищать его — что может быть лучше! Но согласитесь, друзья, не меньшая обязанность ценителя искусства — уметь защищать и критиковать аргументированно, со знанием дела.

В письме Натальи Порицкой позиция ясная: люблю Ленинградский ТЮЗ — и все! С письмом Ольги Цвинтарной сложнее. Проследим логику ее письма: начиная с критики современного Делегатского собрания, высказывая беспокойство за превращение теат-

ра в «педагогическое заведение», школу, через максималистские оценки сегодняшних спектаклей ТЮЗа, — Ольга тем не менее приходит к отрадному для себя выводу, и он на первый взгляд может показаться даже неожиданным: «Я и сейчас люблю наш ТЮЗ, но уже иначе, чем прежде. Я благодарна ему за то, что он привлек меня к театру, с него началось мое увлечение театральным искусством и искусством вообще».

Вывод этот закономерен!

Ольга Цвинтарная давно окончила «эстетическую десятилетку» Ленинградского ТЮЗа, и сегодня спектакли театра, его эстетическая программа для нее, двадцатилетней, этап во мно-



Сцена из спектакля
«Нетерпение»

гом пройденный, оставшийся по ту сторону сдачи экзаменов на «аттестат зрелости» зрителя. Теперь она уже с удовольствием ходит в другие театры. Отметим, как высоко оценивает она спектакли «серьезные», как, например, «Нетерпение». У нее даже зародилась ностальгия по временам, когда в афише ТЮЗа таких постановок было больше. Взрослея, Ольга желает, чтобы театр «взрослел» вместе с ее поколением, чтобы он оставался по-прежнему единственно нужным им. Для всех, кто любит ТЮЗ, настает время, — как ни бывает жалко! — расставаться с ним. На место ушедших приходят юные зрители иных поколений — и это закономерно. «Эстетическая десятилетка» — это театр для младших, средних, старших школьников, юношества. Поэтому в его репертуаре такие различные спектакли — и «сказочные», «развлекательные», и проблемные, постановки классики... На все возрасты.

«Театром особого назначения» назвал ТЮЗ его основа-

тель народный артист СССР А. А. Брянцев. Коллектив Ленинградского театра юных зрителей, возглавляемый народным артистом РСФСР З. Я. Корогодским, ищет новые пути развития, и, как подтвердили недавние юбилейные Брянцевские чтения, посвященные столетию выдающегося мастера советского детского и юношеского театра, ищет плодотворно. Немалую роль в успехе этих поисков играет Делегатское собрание — полпред школьников в театре. ТЮЗ, оставаясь театром, не может не быть школой духовного, гражданского, эстетического взросления юных зрителей. Не эта ли школа воспитала Ольгу, дала ей путевку в мир искусства?

Редакция журнала попросила поэта и искусствоведа Татьяну Санасарян продолжить разговор разбором «сказочного» спектакля «Бонжур, месье Перро!», который насколько «развлекателен», настолько и серьезен.

Татьяна Санасарян

ДВА ЧАСА С КАВАЛЕРОМ ПЕРРО

Из теплой комнаты детства мы перешагиваем в простор огромного мира, прижав к сердцу яркую книжку сказок. Книжку чудес, книжку надежды. Сами того не зная, мы затвердили уже главный урок нравственности: добро победоносно, а человек в своем стремлении к добру всемогущ.

Сказка прямодушна. Ее мудрость наглядна, как разрезная азбука, поэтому мы впоследствии, с высоты своего возраста и опыта, не возвращаемся к таинству сказки: она представляется нам лубком истины.

А если вернуться...

Если остановиться у афиши-83, на которой синими литерами набран дерзкий привет через века и страны: «Бонжур, месье Перро!»

Ого, кто это так уверенно, так весело тревожит тень почтенного галльского сказочника? Так и хочется сорвать с головы (жаль, что только мысленно) широкополую шляпу из лионского фетра и просигналить страусовыми перьями, словно корабельными флагами, троекратное: привет, привет, привет...

И распахнутся двери в залитый огнями зал Ленинградского ТЮЗа имени А. А. Брянцева, и праздничная толпа заполнит галереи и зрительный зал, а на сцене, как на полотне Ватто (художник спектакля Петр Сапегин, затаив иронию, словно процитировал живописную классику Франции), нас уже ждут такие узнаваемые, пока еще кукольно-неподвижные феи и короли, принцессы и придворные... А потом ворвется невесть откуда музыка, зазвучит слово, взметнется на мягких лапах «сам с усам», еще без сапог, но уже говорун и чудесник...

Люди в жизни говорят прозой? Да полно! Прозой ли? Проза — это речь, ставшая искусством. Люди в жизни говорят, как говорится: с повторами, запинками, подчас стандартно, иногда высокопарно, то спешат, как на пожар, то «тянут резину». А в сказке, да еще в пьесе-сказке, да еще там, где не только люди, но и коты умеют разговаривать, чудо начинается с того, что со сцены звучат стихи.

И юные зрители повторяют вслед за Котом, сразу же запоминая:

Жан, Котенок... Брось, не реви!
Что уж поделаешь — се ля ви!
Ну, несколько шишек от старших братишек...
Не плачь. И на соснах полнехонько шишек!
А сосны, гляди, могучие!
Колючие во всяком случае...



Сцена из спектакля «Бонжур, месье Перро!»

Спектакль режиссера Ахмата Байрамкулова (под руководством народного артиста РСФСР З. Я. Корогодского) по пьесе поэта Нонны Слепаковой начался! Поначалу он кажется инсценировкой знаменитого «Кота в сапогах». Но вот Король (заслуженный артист РСФСР Игорь Шибанов) упоминает почему-то веретено... злое предсказание фен над колыбелью дочери-принцессы... вот Королева проговаривается:

Я знаю, что такое черный труд!
Я знаю, что такое униженье!

И сдохватывается:

...Что я болтаю! Вот так положенье!

Это уже не лубок — это нас заманили в картонную карету да и завезли в дремучую глубину — не сюжета, а сказочного королевства, где противостоят друг другу Добро и Зло. Ведь тут, в двухчасовом спектакле, — весь Перро, все, что с детства знали, да забыли, но как это неожиданно вывернулось... То, что мы видим, — уроки кавалера Шарля Перро нам, сегодняшним его читателям и зрителям, домашнее задание потомкам. А мы выросли за триста лет!

Бывшая Золушка, ставшая Королевой и боящаяся даже призрака труда и бедности, какая она чужая теперь, как стыдно за нее... Гораздо стыднее, чем за двуликого Людоеда — придворного историографа и лекаря... «Сказка ложь, да в ней намек...»

Народная артистка РСФСР Антонина Шуранова, исполняющая роль Королевы, беспощадна к своей героине, она не прощает ей измены прошлому, своей юности, полной забот, тревог, труда.

И чистоты, и веры в чудо. Ведь крушение идеала уничтожает что-то в нас самих.

Крестьянский сын Жан, поначалу такой славный, порядочный, крепко помнящий, что «кто с Людоедом — тот сам Людоед», чуть было не пошел по стопам Королевы. Артист Валерий Зиновьев показывает постепенность — почти неуловимость — происходящего в Жане «обмена» его подлинной души, открытой добру, готовой всегда защитить друга и оказать помощь слабому, обмена на принцево богатство и престиж, который — что уж тут поделаешь! — имеет место быть и в сказочной стране!..

Казалось бы, ничтожно малая уступка Злу и обстоятельствам: пошел в работники к Людоеду, взял у него задаток... Но Зло затягивает, засасывает того, кто даже разок поддался. Жан забывает обо всех обещаниях и изменяет себе — настоящему. Забывает и друга — верного Кота, который взялся, как ему казалось, во благо влюбленным, добыть ему корону и богатство. Изменяет дружбе — вымогает, спекулирует на добрых чувствах, угрожает...

ЖАН. Друг! Шевельнуть не желает мизинцем!

КОТ. Я же работаю! Сбился с ног!

ЖАН. Пообещал меня сделать принцем,

А до конца довести не смог!

Сам-то при шляпе, при сапогах...

Не то что я — при босых ногах!

Испытание удачей, легким успехом, богатством страшнее испытания голодом и нищетой. И это в сказке? Сказка углубляется на глазах, из плоской книжной картинки становится подзорной трубой, чья волшебная линза что-то видит, что-то фокусирует внутри нашей собственной души. Обмен настоящих нравственных ценностей на мнимые коснулся почти всех персонажей пьесы — Королевы, Короля, Жана, Людоеда, даже легкокрылых добрых фей... Каждый из них что-то предал в себе самом. И каждый — по-разному — отвечает за это. Одни борются с пагубой и побеждают ее, другие смиряются, третьи даже выстраивают своеобразную философию необходимости Зла. Таков Людоед (заслуженный артист РСФСР Александр Хочинский), противостоящий в спектакле Коту. Надо сказать, что и Кот (пленительное создание — иначе его и не назовешь — Ирины Соколовой, лауреата Государственной премии РСФСР, народной артистки РСФСР) делает поначалу крохотную уступку Злу: надевает сапоги и шляпу — уж очень они красивы, и так он о них мечтал! — купленные на несправедные деньги, взятые Жаном у Людоеда в задаток (мы понимаем — за измену себе). Но, расплачиваясь за это в течение всей пьесы, Кот первым понимает опасность губительной уступки:

Вот так — на волосок уступишь сдуру,

Потом, глядишь, пожертвуешь хвостом,

А там и снимешь собственную шкуру —

И не узнаешь сам себя потом!

В том-то и дело, что в сказке (только ли в сказке?) превращение Добра в Зло совершается как бы волею обстоятельств, незаметно — по крайней мере для самого человека, — если рядом с ним нет настоящего друга, того, кто не побоится вмешаться, остановить перерождение души близкого ему существа.

Ценою смертельного риска для себя самого Кот спасает Жана от нравственной гибели. Ему помогает в этом принцесса Жанна, которая — неожиданно для избалованной принцессы! — оказывается похожей на того доброго и честного Жана, который предстал перед нами в начале пьесы. Вот Жанна (Антонина Введенская) прощает раскаявшегося возлюбленного — это ведь сказка:

ЖАННА. Жан, я люблю, и я прощаю.
Но, любя,
Как будто, знаешь, отвечаю
Я за тебя.
И, чтоб нам больше не расстаться,
Учти — порой
Мне за тебя придется драться
С самим тобой.

ЖАН. Я знаю, я тебя не стою —
Шальной, дурной...
Дерись, пожалуйста, со мною,
Но — будь со мной!
Ты заводи свои порядки!
И, чем смогу,
Тебе в твоей со мною схватке
Я помогу!

Привычная нам сегодня интонация в разговоре двух влюбленных подростков делает старую сказку новой, свежей, захватывающе интересной. И современной. Но дело, конечно, не только в интонации.

Время, отделяющее нас от собственного детства, не уменьшило, не упростило моральные ценности, предъявленные миру сказочником Шарлем Перро в XVII веке, не отменило сказочной игры, что неправдой своей помогает правде. И спектакль Ленинградского ТЮЗа являет нам старую детскую сказку в системе очень современных и очень взрослых ценностей. Это спектакль о верности себе, об ответственности каждого перед самим собой и перед окружающими. Поэт, режиссер, актеры, уверенные в правоте своего друга, месть Перро, ярко воплотили в этом спектакле веру в справедливость, в возможности человека спастись от злых превращений и сохранить для любви и дружбы всех, кто остался равнодушным к сказке.



Рисунок Ю. Чигирева

ИГРА на КУБОК

РАССКАЗ

— Ты готов? — спросил Глеб.

— Не совсем, — сказал Муха.

— Почему?

— Не хватает хороших хава и центрального защитника,

— А без них нельзя?

— Нет.

— Что делать?

— В Баштановке играют зону первенства области. Их центральному и хаву из Дьяковки я послал вызов, но они не приехали. Оба ничего.

Собрался в Баштановку, догадался Глеб. Он взглянул на часы.

— До Баштановки тридцать два километра, а уже десятый час. Успеешь?

— Не знаю, — сказал Муха. — Ты поедешь?

— Я? — переспросил Глеб. — Да, конечно.

Мы побьем их сегодня, подумал он, я чувствую. Что ж, мы должны потрудиться для этого.

На баштановском стадионе в ожидании игры околавалось десятка два человек. Стадион был обычный, сельский, и уже в мае никуда не годился — глаз не сразу находил редкие бугорки травы, жавшиися к бровке. Непонятно, как на таком поле вообще можно было играть, но сами игроки жаловались редко. Чаще тренеры.

— Дьяковские, — уверенно сказал Муха, поглядев на толпу. — Кто тренер? — спросил он.

Подошел мужчина с красным лицом. Подумал и снял шляпу, которой во время разговора нервно обмахивался. Ему объяснили, в чем дело.

— Берите, — сказал мужчина. — Сегодня не играем. Только вечером пусть приедет. Завтра играем.

— Приедет, — пообещал Глеб.

Позвали хава, белобрысого мальчишку лет четырнадцати. Выглядел не очень. Впрочем, это ни о чем не говорило. Муха, знающий детский футбол как никто в области, видел его в деле и если пригласил, значит мальчишка того стоил.

— Ботинки у тебя есть? — спросил Муха.

«Ботинками» он называл бутсы. Это был не лишний вопрос — на таких полях многие предпочитали играть в кедах.

— Есть, — сказал мальчишка.

Ему сказали, куда и зачем он едет, и велели ждать. Известие не вызвало у него приступа радости, как ожидал Глеб, или он просто умел держать себя в руках. Они были сдержанными ребятами, эти сельские. Не по возрасту сдержанными.

Защитник из Баштановки нашелся сам.

— Тренер знает? — на всякий случай спросил его Глеб.

— Знает, — сказал защитник.

В город они вернулись за тридцать минут до игры. Сборная города уже сидела в раздевалке стадиона. Сборная области располагалась внизу единственной здесь трибуны и терпеливо ждала. Завидев тренера с Глебом, футболисты дружно поздоровались. Несколько человек встали.

— Пойдем переодеваться, — сказал Муха Глебу. — Будешь на установке?

— Нет, — сказал Глеб. — Позовешь, когда закончишь.

Муха увел своих в раздевалку. Глеб обогнул трибуну и пошел к административному зданию, где наверняка уже был кто-то из федерации и где, знал он, переодевались судьи. На поле какой-то тип с ведром обновлял разметку у ближних ворот.

В кабинете директора он застал самого директора, Карлова из областной федерации, двух ветеранов, никогда не пропускавших такого рода дел, и фоторепортера собственной газеты. Фамилия одного из ветеранов была Гольцов, и он выгодно отличался от всех прочих ветеранов тем, что в свое время был лучшим в воротах и теперь, имея на то достаточно оснований, ни к кому не лез с советами, а если во что и вмешивался, то по делу.

— Кто судит? — спросил Глеб, поздоровавшись со своими.

Карлов сказал, но певнятно.

Глеб не расслышал и повторил вопрос.

— Манечка! — громыхнул фотограф.

Парнем он был неплохим и фотограф был толковый, но вот чтобы в деликатных ситуациях помалкивать или хотя бы говорить вполголоса — этого за ним не водилось.

Войцеховский по прозвищу Манечка... Что ж, подумал Глеб, они сегодня непременно решили выиграть. Глеб хотел было сказать Карлову, что он против. Но потом подумал, что это ни к чему. Войцеховский утвержден федерацией — у Карлова, наверное, и протокол под рукой. К тому же Манечка может отсудить отлично — с ним и такое случалось.

Прибежал посыльный от Мухи. Команда ждала его в маленьком внутреннем дворике, образованном бетонной ог-

радой стадиона, корпусами раздевалки и стеной, на которую опиралась трибуна. Глеб оглядел игроков — корявость двух-трех человек не сглаживала даже красивая форма.

Муха выставил четырех своих — вратаря, защитника, опорного полузащитника и крайнего форварда — и еще двух держал в запасе. Понадобилось бы — он и пятнадцать человек выставил бы, такая у него в Вачинске была школа. Но именно это в прошлом матче, когда вачинских было семь человек, вменялось ему в вину — чужих, мол, затирает. В городе ему завидовали — тренер из райцентра, а пятеро играют за сборную республики, — и когда представлялась возможность лягнуть, не упускали случая. Сейчас из этой пятерки на поле готовился выйти один — вратарь, прыгучий, цепкий, как обезьяна, и к тому же (к футболу это не имело отношения, но не отметить этого Глеб не мог) настоящий красавчик. Так, наверно, выглядел Грегори Пек, когда ему было пятнадцать.

Муха представил Глеба, хотя особой нужды в этом не было, и Глеб начал говорить. Он сказал им, что результат встречи не имеет значения. Надо показать игру. И еще что-то такое, что он всегда говорил в подобных случаях. Что ты несешь, подумал он. Тебе же важно, чтобы вы их побии.

Он старался выглядеть мужественным, но знал, что это у него плохо получается теперь, когда к тридцати пяти годам он потерял половину волос и раздался, — дело не спасали даже в меру потертый кожаный пиджак и щегольская рубашка, воротник которой, как и полагалось, был небрежно расстегнут. Впрочем, подумал он, парням все равно, как я выгляжу. Для них он был спортивным комментатором. От него зависело, кого расхвалит газета и кого, возможно, приметят в команде мастеров. Этого вполне достаточно, чтобы они относились к нему с должным почтением.

Все вместе они вышли к бровке, где уже находилась сборная города и оба ее тренера. Трибуна была заполнена наполовину, и народ продолжал идти. Двое притащили столик с кубком цветного стекла — призом газеты. Прогарцевал Войцеховский с помощниками. Они попрыгали в центральном круге, будто стряхивая с себя воду, и судья засвистел в свисток.

— Пошли, — сказал Муха. Это относилось к Глебу. Команде он ничего не сказал — может, потому, что волновался.

Обходя поле, они видели, как побежали на центр команды. Запоздало ударил марш. Он продолжал звучать, когда разыгрывались ворота, и когда эти ворота заняли, и даже когда Манечка засвистел и крайний форвард из Вачинска ввел мяч в игру, отпасовав его назад хаву из Дьяковки. Все это они увидели, усевшись на своем обычном месте — на скамейке у противоположной кромки поля, про-

тив трибуны. Хав передержал мяч и, когда в опасной близости от него появилась тройка нападающих команды города, отбросил мяч вратарю. Он и это сделал с опозданием, и красавчику пришлось накрыть мяч почти на границе вратарской, а одному из нападающих через него перепрыгнуть.

На трибуне зааплодировали.

— Сигарету, — тихо попросил Муха. Обычно его мучило от одного вида табачного дыма.

Пока они возились с сигаретами, городские всерьез надели на ворота. Дважды их наскоки лихорадочно отражала защита, а на третий капитан, подвижный, как торпеда, и изворотливый, как эхо, хлестко ударил по воротам и попал в штангу. Вратарь прыгнул, но ниже, чем следовало, и, поднявшись, виновато развел руками. Неважное начало, подумал Глеб и посмотрел на Муху. Тренер встал и нервно заходил вдоль скамейки. Он знал, что с трибуны это видят. Но ему было все равно, что его видят.

Их прижали к воротам (Глеб говорил себе «нас», будто сам в этот момент находился на поле), и они, отбиваясь, едва успевали перевести дух. Лучше других держались вачинские, а их полузащитник был просто блеск. Он был везде. Преграждал путь мячу, летящему в пустые ворота, и в следующий момент возникал у противоположных ворот, вкладывая в свой отчаянный рывок столько сил, что их уже не хватало для удара. Но что он мог один? Его появление в защитных порядках не спасало дела, ибо центральный защитник из Баштановки так и не вошел в игру: старательный, в общем, парень, сейчас он был большой дырой в и без того редком частоколе. Его острые, по-видимому, наигранные с постоянными партнерами передачи вперед не находили нынешних и легко перехватывались защитниками. Игра команды все больше начинала напоминать работу двигателя в момент, когда в баках уже не осталось ни капли горючего, — она держалась вопреки логике.

На тридцать второй минуте капитан городских забил красивый гол. Он отобрал мяч у совершенно расклеившегося баштановского стоппера, на скорости обошел одного за другим еще двух игроков и с ходу ударил в верхний угол ворот. Вратарь угадал направление, но не угадал скорости, и пока капитана соперников поздравляли, а партнеры уныло тащились к центру, лежал, не решаясь оторвать голову от земли. Потом он поднялся, и стало видно, что в нем, уставшем, с потемневшим лицом, мало чего осталось от молодого Пека.

Трибуна ликовала. Ей, кроме, может быть, нескольких человек, было все равно, кому забили, — лишь бы забили. Забыют в противоположные ворота — и она точно так же будет ликовать. Черта с два забьем, подумал Глеб. Раз-

вязалась торба. Он посмотрел на Муху — тренер сидел неподвижно. Глеб хотел было заговорить с ним о заменах, но потом подумал, что это бессмысленно. Муха сейчас никого менять не станет. Черта с два он покажет им, что сдастся.

Войцеховский просвистел перерыв, и Глеб подумал, что ни разу не вспомнил о судьбе. Это потому, что не к чему было придраться. Что ж, возможно, его опасения были напрасны.

Муха пошел в раздевалку. Глеб пристроился за ним, но не спешил, держался в стороне. Сейчас, знал он, тренера лучше не трогать.

Раздевалка была маленькой и темной, с единственным окном. Муха вошел, а Глеб остался стоять в дверях, и от этого в комнате стало совсем темно. Команда сидела на скамейке у стены — одиннадцать измученных ребят. Посмотришь на таких и понимаешь — они сделали все, что могли. Жаль, что смогли они не очень много. В углу, теряясь в полутьме, толпились запасные.

Муха начал спокойно. Неожиданно он сорвался на крик. Повизгивал. Слова выбирал резкие, обидные. Слушали его, не оправдываясь, потупив головы. Так же, без всякого перехода, он вернулся к прежнему тону — давал указания на второй тайм. Атаковать, говорил он. Атаковать! Атаковать! В самом конце объявил замены. Их, к удивлению Глеба, оказалось немного, хотя по условиям матча замены не были ограничены. Тренер менял баштановского стоппера и хава из Дьяковки. Те, кто покидал игру и кто входил в нее, здесь же с одинаково мрачными лицами переодевались.

— Скажешь что-нибудь? — спросил Муха у Глеба.

— Нет, — ответил Глеб. Что он мог им сказать?

И снова вперед шла сборная города. Внешне все выглядело так же: она атаковала мощно и широко. С первых же минут почти без передышек заработал вратарь. Выбивая мяч за линию ворот, защитники угодили в штангу, повторный удар только чудом миновал сетку. И все-таки что-то неуловимо изменилось. Глеб не сразу понял, что, а когда понял — обрадовался. Заиграла их команда. Защита уже не проваливалась, открывая проходы, а только изгибалась, как стальная пластинка, в том месте, где давили. Стали удаваться пасы. Муха, заметив перемены, на ходу произвел корректировку, введя двух свежих игроков. Пошли удары по воротам, за которыми появился фоторепортер — верный признак того, что дела налаживаются. Городские дрогнули. Здесь бы и мастера дрогнули — куда уж пацанам. Перелом наступил, и исход игры зависел теперь только от одного — от времени. Успеют ли они отыграть — это было неясно.

На семидесятой минуте крайний форвард областных, получив от своего полузащитника длинный диагональный и, по-видимому, отработанный пас, вышел на ворота и выстрелил метров с семи. Удар был такой силы, что мяч, вонзившись в сетку под самой планкой, вылетел в поле и уже там его схватил вратарь. Это была классическая комбинация и классический удар, ну прямо бери и вставляй в футбольный учебник, если, конечно, успел фотограф. Трибуна взорвалась. Муха побледнел, как мертвец. Глеб полез к нему с поздравлениями и вдруг увидел, что Войцеховский показывает «от ворот». Вот гад, подумал Глеб. Вот он нас и нашел.

Трибуна, отреагировавшая первой, засвистела, завывала. Вратарь, не разобравшись, выбросил мяч в центральный круг. Манечка вернул его и снова показал — «от ворот». Забивший ничего не успел понять и восклицательным знаком продолжал торчать в штрафной площадке. Человек поопытней не снес бы столь очевидной несправедливости — ответил скандалом. Но что он, в его возрасте, знал о несправедливости?

Мимо скамейки, где сидели репортер с тренером, пробежал боковой судья.

— Вы что? — не сдерживаясь, закричал на него Глеб.

Боковой оглянулся и узнал их. Он остановился.

— Не было гола, — лениво сказал он, потом повел плечами и флажком почесал себя между лопатками. Ему было жарко.

Практически на этом матч и закончился. Донгрывали нехотя, словно через силу, под непрерывный свист трибуны. Несколько минут Манечка не выдержал, украл, но поймать его было нельзя, потому что Глеб не глянул на часы, когда начали. Похоже, его не на чем было поймать, с бешенством подумал он.

Пока команды собирались в центре поля и вяло прощались, Глеб с Мухой обошли стадион и здесь перехватили игроков.

— Был гол, Рябинин? — спросил Муха у того, кто забил.

— Был, — дрожащим голосом ответил нападающий. В глазах у него стояли слезы.

— Был гол? — спросил Глеб вратаря городских.

— Не знаю, — промычал тот, глядя себе под ноги. — Я не видел.

— Пойду к Карлову, — сказал Глеб Мухе.

— Зачем? — сказал Муха, махнув рукой, маленький, бесконечно расстроенный человек. Он побрел к раздевалке.

До чего же человек одинок в своем горе, подумал Глеб, глядя ему вслед.

Карлова Глеб нашел в кабинете директора.

— Так был гол или нет? — спросил он его. Внутри у него все клокотало.

— Не было, — сказал Карлов почти весело. — Не было, — повторил он раздельно. И добавил на всякий случай: — Учтите, к воротам я был ближе, чем вы.

Скандал ни к чему, успел подумать Глеб. Он вышел. Сейчас он не ручался за себя.

— Был гол, — сказал ему фотограф, который стоял на аллее, дожидаясь распоряжений. — Чистейший!

— Ты снял?

— Не успел.

То, что он сказал, резко меняло дело. Точнее, не сами его слова, а то, что после них Глебу вдруг пришло в голову.

— Ты снял этот гол, — сказал Глеб фотографу, уведя его в сторону. — Ты его снял, и он у тебя есть на пленке. И кто бы сейчас ни спросил тебя об этом, ты ответишь: гол был, и я его снял.

— А тебе это нужно?

— Очень, — сказал Глеб.

Он вернулся в кабинет директора. Народу здесь прибавилось. Войцеховский подписывал протокол. Карлов поздравлял тренеров сборной города. В углу молчаливо сидел Гольцов.

— И все-таки, был гол? — спросил Глеб у них.

Все, кто говорил, замолчали и посмотрели на него.

— Был, — тихо сказал Гольцов, но Глеб услышал.

— Ну, что вы, Глеб Александрович, ей-богу... — с ласковой укоризной произнес Карлов. — Мы уже установили...

— Точнее надо бить, — нахально сказал Манечка.

Ну и паскуда, подумал Глеб, а вслух спросил его:

— До этого удара Рябинин не нарушил правил?

Он умышленно начал так. Он должен был отсечь их единственную возможность для отступления.

— Значит, если бы он попал в ворота, то гол вы бы засчитали?

— Засчитал бы, — безмятежно отвечал Манечка.

— В таком случае хочу вам заявить следующее, — сказал Глеб им всем. Он прислонился к стене, руки скрестил на груди. Ему было нелегко унять в себе оратора. — Гол был. Момент взятия ворот зафиксировал фотограф, и завтра этот снимок появится в газете с соответствующим комментарием.

Ему очень хотелось закончить как-нибудь поэффектней — например, уйти, хлопнув дверью, и чтоб они его догоняли. Но он сдержался. Итак, выкинут белый флаг. С них и этого хватит. Они долго молчали, и это было выразительней всяких слов.

— Чего же вы хотите? — наконец спросил Карлов.

— Чтобы восторжествовала справедливость, — сказал Глеб Карлову. — Чтобы пацаны знали только честную игру. Странно, что я вам должен напоминать о таких вещах.

— Хорошо, — сухо сказал Карлов. — Подождите. Мы решим, что можно сделать.

Через минуту он вышел и объявил Глебу, что гол засчитывается. Команды приглашаются на поле для пробития одиннадцатиметровых ударов, которые и определяют победителя.

Известие о голе Муха воспринял безо всякого энтузиазма. Он даже не поинтересовался, как это Глебу удалось. Глаза у него были потухшие. В раздевалке, безразличная ко всему, сидела команда.

— Рябинин, — перечислял Муха тех, кому предстояло бить пенальти. — И... И еще четверо, кто хочет. — Впрочем, он тут же взял себя в руки и назвал еще четыре фамилии. — С удовольствием поставил бы их всех в ворота и воткнул пару штук, — сказал он Глебу. И Глеб понял.

Пришел один из боковых судей и пригласил на поле. Войцеховский так и не появился. Процедурой пробития руководил второй боковой судья.

Рябинин бил первым, не попал и отошел, как показалось Глебу, совсем не расстроенным. Городские сделали счет 1 : 0.

Они промазали только раз против двух промахов у сельских и победили с учетом забитых в игре голов — 5 : 4. Глеб вручил им кубок. Представитель федерации, который обычно делал это, на поле не вышел.

Они встретились у выхода, и Карлов спросил Глеба, доволен ли он.

— Да, — сказал Глеб. — Я доволен.

Он не чувствовал ничего, кроме усталости.

На улице его дожидался Муха со своими. Глеб машинально отметил, что никто не уехал. И центральный защитник из Баштановки. И дьяковский хав.

— Встретимся на вокзале, — сказал им Муха.

— Хорошо, — сказал кто-то из них.

Команда перешла улицу, и ее поглотила толпа.

— Пошли, — сказал Глебу Муха.

До его поезда оставался час. Час, который они проведут вместе и за который, знал Глеб, о футболе не будет сказано ни слова.

Теплоход

«Михаил Сомов»

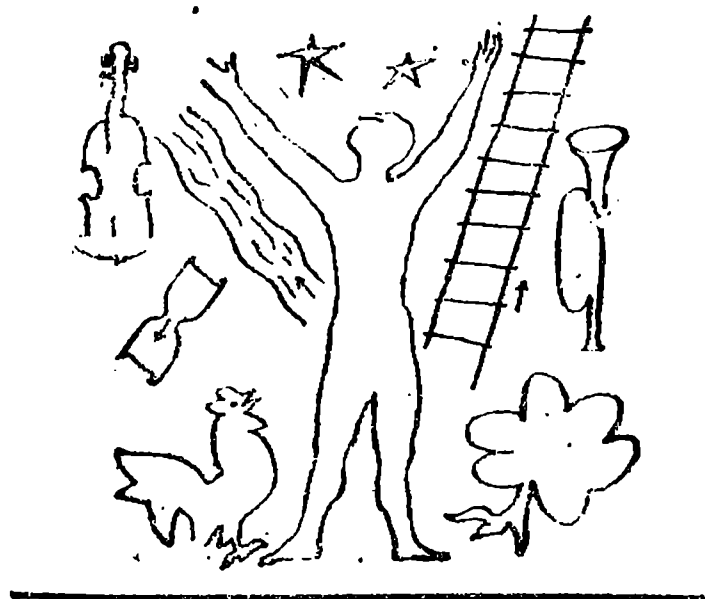
Материков связующая нить —
Тот, чья дорога через океаны.
Он для того и умер,
 чтоб ходить
Опять туда,
 вдоль рваных швов Гондваны.
Нет, правильно поймите—доктора
Сказали жестко: отдыхать пора.
Болезни лезли —
 первым их заметил.
А помысел все так же
 чист и светел:
Туда, в края
 неслыханных снегов,
Кто побывал однажды,
 тянет снова,
В обличье птицы
 иль чего иного...
Зовет черта знакомых берегов.
Как ждал его
 тысячелетний лед!
— Оставь следы,
 свои поселки выстрой,
Кинь сверху взгляд—

 поможет самолет —
И к полюсу дорогою небыстрой!
О, счастье — ставить ногу
 на кремень,
На край морены,
 что людей не знала,
И начинать открытий
 новый день,
Где все впервые,
 с самого начала!
...Опять туда.
 Он крепок, твой металл.
Ломая лед,
 другим дорогу ладишь.
Был человек
 и теплоходом стал,
И вновь его
 встречают в Ленинграде.
И с гордостью
 сливается слеза,
А в памяти
 воспоминанье зыбко:
Прищуренные зоркие глаза,
Родная большеротая улыбка.

□

Мимо Сестрорецка, мимо Лахты,
Вдоль песчаной
 светлой полосы,
Острокрылы, проплывают яхты,
Катера летят, подняв носы.
Правят ими яркие, как факелы,
Боги в плавках
 черных и цветных,
Други ветра, смуглые Гераклы —
За плечами подвиги у них.
Солнцем зацелованы до бронзы,
Воздухом обласканы морским,
Вечером они приносят розы

Терпеливым девушкам своим.
На руках плащи висят, покоясь,
А в глазах достоинства печать
И готовность
 к подвигам, о коих
Скромность
 заставляет промолчать.
Молодость! А утром,
 не нарушив
Графиков и сеток, точно в срок
Станут в строй
 и в дело вложат душу,
Снова перевыполнив урок.



Таланты и поклонники.

Не часто в редакцию приходят такие письма, как это: «Я ненавижу Аллу Пугачеву. Конечно, не ее лично, а явление „Алла Пугачева“, ту пошлость, беспардонность, которая расцвела на эстраде с ее появлением».

Что это — бунт? Бунт против кумира?

«Чего она хочет, чего добивается? А ведь добивается, это видно и слышно, изо всех сил! Самое ужасное, что у этой певицы есть талант. Получается так: револьвер в руках у слабоумного или ребенка. И это-то и опасно. Мне хочется кричать: „Спасите!“, или „Уймите!“, или „Образумьте!“ — ее!

Все это очень похоже на то, что не хочется читать „заданное“ в школе, в данном случае — не хочется слушать методично навязываемое. Выход я нашла: вообще уже год выключаю радио, как только начинается эстрадная передача...»

Резкость выражений филолога Татьяны Николаевой свидетельствует о том, что письмо писалось в отчаянии. «Прошу не указывать адрес — меня заклюют!»

Не хочется поддаваться нервическому тону письма. К тому же оценки Пугачевой и эстрадного искусства в целом явно страдают односторонностью и преувеличением. И все же письмо это, на мой взгляд, о многом заставляет задуматься.

“ Я памятник себе воздвигаю... ”

Проблема талантов и поклонников многообразна и вечно нова. Попробуем и мы рассмотреть ее с разных точек зрения. Для начала попробуем, как говорится, влезть в шкуру кумира — кто из поклонников не мечтает об этом!

Мне представляется это так: кумир живет в мире, где царствуют эхо и зеркала. Он видит свое отражение в уличных афишах, на глянцевиных страницах журналов, на экране телевизора, даже на хозяйственных сумках. Включив радио, он слышит собственный голос, записанный в радиостудии месяц или год назад. Рано или поздно у него создается ощущение, что мир переполнен им. Он уже давно не вздрагивает, услышав собственное имя. Он всем нужен и в то же время всегда живет наедине с самим собой. И в восторженных криках поклонников он слышит лишь эхо собственной славы — не более того.

Таким образом слава, как это ни покажется странным, оккупировала его одиночеством и в то же время парадоксальным образом отняла его у него самого. Публичный человек не принадлежит себе. Забота об организации своего личного времени превращается для него в одну из самых главных и трудноразрешимых проблем. Во-первых, это личное время при столь плотном расписании просто трудно выкроить. Во-вторых, многое из того, что доступно обыкновенному человеку, совершенно недоступно любимцу публики. Любопытно было бы узнать, давно ли та же Алла Пугачева прогуливалась с друзьями по улице Горького или просто играла со своим ребенком в сквере. Какое там, разве что на даче за высоким глухим забором. Выходит, слава не расширяет, а сужает мир, ограничивает число простых душевных отношений, съедает то, что принято называть личной жизнью. Я говорю, разумеется, не просто о славе, а об этой самой — эстрадной, публично-видовой. Мучительно неловко смотреть, когда «звезда» пытается ответить интервьюеру на вопрос о своем хобби.

Не буду утверждать, что любой из эстрадных кумиров тяготеет популярностью. Да и привлекательных сторон в славе тоже предостаточно. Не о том речь. Вопрос в том, что очень многие не способны выдержать проверку «медными трубами». Уверовав в иллюзию собственной безупречности, они начинают изменять таланту. Первейший долг саморазвития оказывается забытым. И вот уже то, что вчера еще было открытием, сегодня становится приемом, завтра — плохим приемом, а послезавтра — набившим оскомину штампом. Вчера еще это казалось следствием милого простодушия, избытком неотшлифованного артистизма, сегодня кое-кто поговаривает о пошлости и безвкусице. Но как трудно расслышать эти критические голоса за восторженным ревом публики! А ведь чем дальше, тем больше приходится не столько служить искусству, сколько «работать на публику», педалировать те моменты, которые однажды вызвали ее одобрение. Интуиция и талант подсказывают, что надо изменять свой образ, развиваться. Но ведь это сопряжено с немалой опасностью — а вдруг новый образ придется зрителю не по душе? Стоит ли рисковать?

Кроме того, слава воспитывает эгоцентризм. Человек представляется себе уже не просто хорошим и популярным певцом, а властителем дум. Властителю же дум многое позволено. Без достаточного на то основания он начинает вести себя по-хозяйски в мире культуры. Почему бы, например, не переписать сонет Шекспира или стихотворение Мандельштама от женского лица? Об этом, впрочем, уже писал на страницах «Авроры» в своих «Записках» наш уважаемый рок-дилетант Александр Житинский. Он же в разговоре однажды пошутил, что если бы Алла Пугачева захотела положить на музыку пушкинский «Памятник», то первая строчка у нее звучала бы так: «Я памятник себе воздвигла...»

« Миллион,
Миллион
Миллион алых роз... »

Прежде чем перейти от талантов к поклонникам, хочу сказать несколько слов о тех, кто лишает удовольствия автора процитированного мной письма каждый день слушать радио, то есть о тех, кто стоит между талантами и их поклонниками и призван влиять на эти отношения и регулировать их. Мне представляется, что многие из них так же бездумно служат массовому спросу, как и те категории «звезд», о которых я говорил. Так и легче и безопаснее. Включи в любую радиопередачу или концертную программу выступление Пугачевой — и успех обеспечен. К тому же диски и пленки всегда под рукой.

Беда лишь в том, что не весь мир состоит из поклонников, на многих многократное появление «звезды» на телеэкране или в концертном зале давно уже не производит гипнотического действия. Душа жаждет новых песен, новых голосов, новых лиц. Они хотят присутствовать не при распродаже тиража, а при рождении нового. Но редакторам и режиссерам легче иметь дело с тиражом. Да и не хотят они иметь в виду тех слабонервных, у которых начинает болеть голова, когда они в миллионный раз слышат «Миллион, миллион, миллион алых роз...»

Но сдается мне, что отряд «слабонервных» стремительно растет. Их, может быть, уже не меньше, чем тех самых роз, и пора к ним прислушаться. Я, например, совершенно неспособен пересказать, о чем эта самая песня про миллион роз. Честное слово, не знаю. Я так сжился с ней, что не могу вспомнить ее слов. Я слушаю только ритм, мелодию, голос, я подставляю голову под ее мелодическую струю и обо всем забываю. Быть может, этого и добивалась Алла Пугачева?

Когда я прохожу мимо киоска, она смотрит на меня с конверта яркого диска и улыбается. И кажется мне, что с каждым днем ее улыбка становится грустнее. Или я ошибаюсь?..

Ах, эти звезды...

Да, я, наверное, ошибаюсь... Во всяком случае, в телевизионном фильме «Я возвращаю ваш портрет...» режиссера Вячеслава Виноградова, в котором Алла Пугачева принимает участие вместе с эстрадными «звездами» последних шести десятилетий, она напоминала ребенка, которому доставляет неизъяснимое наслаждение играть с давно купленной игрушкой под названием «фортуна». Ей нравится слава, говорит она, и хорошо, чтобы она подольше не проходила. По утрам, сообщила «звезда» с привычной интимностью, рассчитанной на миллионы, она подходит к зеркалу и думает, какая она красивая. Это что-то вроде аутотренинга, потому что она тут же и впрямь становится красивой. Все это выглядит очень мило, особенно шляпа с щедрыми полями. Как у кота в сапогах. Андрей

Миронов, в глазах у которого светится нежная улыбка, все же прикусывает губу и качает головой. Так смотрят на забаловавшегося ребенка, шепча про себя: «Боже, он не ведает, что творит».

Это любовно-юмористическое отношение к вчерашним и сегодняшним «звездам» присуще всему фильму. Вот бы нашим поклонникам, подумал я, немного этого юмора...

Подобное же отношение к своим персонажам почувствовал я и в студенческом спектакле «Ах, эти звезды!..» Замечу попутно для тех, кто читал шестую Тетрадь, посвященную спектаклю «Братья Карамазовы», что речь идет о том же самом выпускном курсе Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Концертные номера в спектакле «Ах, эти звезды!..» я бы сравнил с рецензиями актеров на актеров, исполненными теми же средствами. При всей, случалось, едкой проничности они были необыкновенно деликатны. Втянув нас, например, в феерическое действо Аллы Пугачевой, актриса, показывающая ее, вдруг тяжело садится на стул, опускает руки между коленями, как ребенок, не заботящийся о своей эстетической привлекательности, и, как ребенок же, доверительно говорит о себе: «Устала я, устала...»

А где-то, подумал я, в тот же вечер, где выступала настоящая Пугачева, сотни поклонниц ждали ее на улице с транспарантами, на которых было написано: «Алла, мы тебя любим!»

Ах, эти звезды!.. Но и — ах, эти поклонники!

Кумиры... Кумиры...

Давайте же, наконец, поговорим о поклонниках и вообще о явлении кумирства (не знаю, есть ли такое слово, но смысл его, кажется, понятен). Явление это — спутник не одной только эстрады. Мне почему-то видится девушка, которая пробивается сквозь толпу, чтобы взять автограф у знаменитого спортсмена или поэта. «Как вас зовут? — спрашивает, например, тот. — Лида? Хорошо — „дорогой Лиде...“» Лида улыбается. Теперь и она причастна. К чему — к спорту, поэзии? Это не важно. К тому самому. К славе.

У меня вовсе нет желания поиздеваться над всякого рода поклонниками. Поклонники, да и кумиры, ведь очень различны. Потребность, особенно в юности, иметь кумира совершенно, на мой взгляд, естественна. Стендаль сказал как-то, что тот, кто не обожествлял в юности великого человека, даже смешные его качества, не годится ему в собеседники. А писатель Олеша, например, признавался, что любил Маяковского так сильно, что, не задумываясь, отменял свидание с девушкой, если знал, что в этот вечер может где-нибудь увидеть Маяковского.

У каждого, наверное, отыщется в юности кумир или даже несколько кумиров. Вспоминаю свою юность — и она не исключение. Помню, как толпы юношей и девушек пытались пробиться на литературный вечер, в котором участвовал Андрей Вознесенский. С удивлением обнаруживаю и себя в этой толпе. Мы обуреваемы коллективным желанием видеть и слышать нашего любимого поэта.

Поэт был в таком же студенческом свитерке, как и большинство из нас, и это казалось прекрасным. Он только что вернулся из Парижа, и это тоже казалось прекрасным, потому что благодаря только что вышедшему на русском языке «Празднику, который всегда с тобой» Хемингуэя, первым книгам «Люди, годы, жизнь» Эренбурга, где он рассказывал о парижском периоде своей жизни, благодаря гастролем в нашей стране Ива Монтана (гастроли зарубежных певцов были тогда в новинку), фильму «Нормандия — Норман», да и вообще извечной любви русских к Франции — мы все бредили Парижем. Кажется, в те годы и появилась песенка: «Ты что, мой друг, не спишь? Мешает спать Париж? Ты этим никого не удивишь...» Но, пожалуй, самым замечательным был рассказ поэта о том, что на одном из мостов он увидел, как уличный художник рисует портрет Маяковского. Потому что больше, чем Парижем, мы бредили Маяковским, светловской «Гренадой» и вообще романтикой 20-х годов. И то, что Маяковского помнил и любил какой-то безвестный парижский художник, наполняло нас восторгом. А стихи об этом, а удивительная манера чтения...

Все запомнилось из этого вечера: и стынувшая на морозе толпа молодежи, и поэт в кубанке, с покоряющим простодушием подписывающий книги и открытки: «Андрей Вознесенский. XX век».

Конечно, все это вызывает у меня сейчас улыбку. И люблю я сегодня других поэтов. И жалею, что был на том вечере невнимателен к прозаику Виктору Драгунскому (все ждал, когда на сцену выйдет мой кумир), а Драгунскому оставалось жить не так уж долго, и был он хорошим прозаиком, и рассказы свои читал мастерски. И все же я не жалею о том своем состоянии.

А почему я, собственно, не жалею?..

Потому, думаю, что через это поклонение находила выход моя до времени неостребованная любовь. Уверен, что и у сегодняшних молодых, кому бы они ни поклонялись, дело обстоит именно так. Полюбить близкого труднее — он несовершенен, он привычен. Но потребность-то любви всегда живет в человеке, и она прекрасна. И все же главное не в этом. В своей любви мы причащались к идеальным сферам бытия. Всякая идея, мысль, чувство, знание приходят к нам через конкретных людей. Вознесенский открывал нам неожиданность мира, от него мы впервые узнали о Рублеве и синхрофазотроне, о Мурильо и Гогене, о том, что наша повседневная речь прекрасно приспособлена для выражения самых высоких чувств.

Поэтому, если я и говорю о сегодняшних поклонниках с тревогой, то вовсе не потому, что не способен оценить саму эту страстную потребность в кумире. Просто я не могу разглядеть, какие миры, какие идеальные сферы открываются им в их поклонении. Ведь кумир — это воплощенная мечта. О чем их мечта? А может быть, это не только беда тех, кто поклоняется, но и вина тех, кому поклоняются. Что важного имеют сообщить о жизни эти властители дум, эти и. о. кумира?

Странная сложилась ситуация. Кумиром сегодня может быть не только личность, но, например, ВИА или спортивная команда. «Литературная газета» писала о «спартаковцах» — поклонниках футбольной команды «Спартак». А мне в Ленинграде приходилось сталкиваться с «зенитовцами». У них на стадионе «свой» сектор, они приходят на матч с транспарантами, скандируя в течение всего матча: «„Зенит“ — чемпион!» Кстати, это обращено к команде, кото-

рая ни разу за историю отечественного футбола не была чемпионом страны. Но для поклонников это не имеет значения, они готовы поколотить любого, кто не разделяет их восторга. Так что же, может быть, вся проблема в том, что и другие любимцы публики, которым публика внушает, что они чемпионы, просто не чемпионы?

Нет. Все же явление это, я думаю, сложнее. Почему, например, пальму первенства в последние годы захватили именно эстрадные кумиры? Именно от них чего-то ждут поклонники. И не только ждут, а и получают. Что?

Люди в наушниках ✓

Объяснение этому я нашел совершенно случайно. На улицах мне не раз и не два попадались люди в наушниках. Наушники были подсоединены к портативному магнитофону. Убаюкивающие наркотические ритмы современной эстрады с готовностью заменили людям в наушниках городские шумы, лесные звуки и человеческую речь. Если такой человек садился на скамейку, он еще и глаза прикрывал. Колыбельная. Сон. Кайф.

Что же, неужели это и есть тот «хлеб», которым питаются поклонники современной эстрады? Окружающий человека мир сложен, проблемен. Он требует участия ума и души. Это трудно. А совсем рядом, рукой подать, безмятежное детство с упоительными мечтами. Его уже не вернуть, но его может заменить музыка. К голосу кумира человек в наушниках привык, как к любимой рубашке. Если его вдруг не оказывается рядом, он начинает испытывать беспокойство: «Наушники, где мои наушники?»

Я очень бы хотел быть не прав. Ну а что, если я все же прав?..

Валерий ПОПОВ

Дорога до К.

САТИРИЧЕСКИЙ
РАССКАЗ



Закончив СХШ — среднюю художественную школу, Виноградов не стал поступать в Академию художеств.

Дело в том, что обычный путь, по которому, как считается, приходят художники, Виноградова не устраивал.

Поступать год за годом в Академию художеств, подавать на комиссию какие-то ученические рисунки с натуры, чтобы потом, после долгой учебы, сделаться подражателем художников прошлых веков.

Уж в чем — в чем, а в этом он разбирался!

Короче, он стал рисовать дома и по совету своего старшего друга Шицкого поступил такелажником в музей, где, как сказал Шицкий, «подобралась неплохая компания».

Виноградов вышел на работу и сразу понял: да, это действительно то, что ему сейчас требуется! Кроме бригадира, профессионального такелажника, остальную часть бригады составляли ребята, собирающиеся посвятить свою жизнь искусству: Алик Сатановский, сын академика, ушедший из дома, писал гениальные стихи, Сережа Кошеверов был замечательным знатоком истории и философии, а сам Шицкий, друг Виноградова, продвигал вперед живопись и, кроме того, был большим специалистом по магии и оккультизму.

Вначале Виноградов был в восторге: какие подобрались ребята! Наверняка, каждый из них скажет свое слово — причем, несомненно, новое!

Да и вообще, работать в музее было интересно: переключаясь на тележку обломок какой-нибудь мраморной стелы, вдруг почувствовать: ей две тысячи лет!

Кроме того, атмосфера в музее была замечательной: научные сотрудники музея, особенно молодые, охотно разговаривали с ними, признавали их глубокие знания, горячо спорили, зачастую забывая, кто из них научный сотрудник, а кто — такелажник. Нигде больше Виноградов не слышал таких глубоких разговоров об искусстве, как здесь, в такелажной подсобке музея!

Но, честно говоря, единственным художником, которого Виноградов любил, был К. — художник довольно известный, хотя и не настолько, насколько заслуживал. Но эту свою любовь Виноградов хранил в тайне: друзьям его по музею, этим такелажникам-максималистам, К., конечно, не нравился (а если бы и нравился — они ни за что даже себе в этом бы не признались).

Но К. стоял теперь довольно высоко, и не в характере Виноградова было нагружать своими проблемами людей, особенно тех, которых он уважал и любил. Тем более ясно, что К. — художник абсолютно своеобразный — тоже прошел те же преграды, которые предстояло преодолеть ему, и тревожить его лишней раз Виноградов не хотел.

Выйдя в пятницу с работы чуть живым — оформляли новую экспозицию, — Виноградов медленно пошел по Невскому и вдруг, на беду свою, встретил Сидоренкова — старого знакомого, чуть ли не по яслям, уже тогда бойкого не по летам мальчугана. Последние годы он вроде бы исчез и вдруг — надо же! — появился вновь.

— Куда идешь? — сразу же спросил Сидоренков.

— Да надо... тут... на Васильевский, — смешавшись, проговорил Виноградов.

— Так это ж в другую сторону! — сразу же сказал Сидоренков.

— А может, мне так охота?

— Языком-то не мели, — строго сказал Сидоренков. — Пойдем, я на четырнадцатый тебя посажу.

— А я не хочу на четырнадцатый!

— Так куда тебе — не пойму, — продолжал Сидоренков.

— Домой поеду, — сдаваясь, сказал Виноградов.

— ...Тогда тебе в метро, — неумолимо произнес Сидоренков.

— ...Нет.

— Языком-то не мели! Раз уж едешь куда-то — так надо думать, как быстрее доехать. Логично?

— Не все, что логично, обязательно хорошо. Понимаешь?

— Нет, — подумав, сказал тот. — Так что ж по-дурацки жить?

— Да! Я хочу по-дурацки! — Виноградов отошел к стене и, отламывая, стал кусать штукатурку.

— Пошли. Есть тут одно отличное место, — снисходительно сказал Сидоренков.

«Сейчас покажет, как надо правильно есть штукатурку», — усмехаясь, подумал обессиленный Виноградов.

По пути Сидоренков начал подробно расспрашивать Виноградова о его жизни: «...Не пойму... а это как же?.. А это?»

«Ну что тебе надо? — с ненавистью думал Виноградов. — Ведь ничего же тебе не надо!»

— Так что же, у тебя пенсии не будет? — нащупав, наконец, самое главное, изумился Сидоренков.

— А у тебя сколько пенсия будет? — спросил его Виноградов.

— Девяносто, — не моргнув глазом, ответил тот.

С трудом отвязавшись наконец от Сидоренкова, Виноградов пошел дальше по Невскому.

Он вспомнил вдруг, что недавно слышал, будто Вася Макевнин, окончивший СХШ за три года до него, стал неожиданно крупным художником; тот же, говоривший, сказал и адрес макевнинской мастерской.

Виноградов доехал по адресу, прошел два двора, от-

крыл дверь и по темному короткому отростку лестницы спустился в полуподвал. Дверь была приоткрыта, чтобы выходил дым — что-то жарилось.

Макевнин лежал на дощатом топчане, в серой рубашке, выбившейся на брюхе.

— О... старые кадры! — добродушно прогудел он, протягивая руку. — Нашим людям всегда рады!

Виноградов осматривал темноватую мастерскую.

— Слышал, я тут чуть было опять не зопил?! («Зопил» — было любимое слово Макевнина). Спасибо, Риммуля меня спасла.

— А кто это — Риммуля? — настороженно спросил Виноградов.

Макевнин повел глазами в сторону маленькой темной комнатки, заменявшей кухню. (Там она. Не болтай!) Виноградов кивнул.

— Видал, какую я тут сараюху намалевал? — Макевнин кивнул на темное полотно с торчавшими по краям нитками, стоявшее на полу у стены.

Виноградов взял полотно в руки, долго стоял, абсолютно не зная, что сказать... Да, действительно, — сараюха... все правильно. Постояв так, он вдруг (потом он очень гордился этой находкой) чуть повернул картину, как бы для того, чтобы изменить ракурсу освещения.

— Да-а-а-а... — неопределенно проговорил Виноградов, ставя полотно с торчащими нитками на место.

Но Макевнина, видимо, такая оценка вполне устраивала.

Вдруг из маленькой комнатки, заменявшей кухню, вышла высокая сутулая женщина в шляпке, с ножом в руке.

— Тиша, а где у тебя лук? — спросила она, сухо кивнув Виноградову.

— Там, Риммуленька, под столом, в картонной коробке.

«Значит, вот Риммуленька, которая спасает, — мельком подумал Виноградов. — Все ясно».

— А К, случайно, у тебя не бывает? — неожиданно даже для себя спросил Виноградов.

— Тебе что, нравится этот фигляр? — презрительно проговорил Макевнин. — Паляназь каких попало красок на холст — это всякий может. А где у него содержание? Где глубина?

«Все ясно», — устало подумал Виноградов. Он плохо уже соображал — зачем он здесь так долго находится? Он давно уже знал, что Макевнин художник слабый, добирающий якобы «глубинностью»... Ну что ж!..

Виноградов собирался уже подняться, чтобы идти, — в этот момент раздался топот ног, голоса: к Макевнину пришли еще гости — принесли еду, выпивку, при этом держались они почтительно, даже подобострастно!

— Где вы раскопали такую прелесть?! — спросил гость, подняв с пола сараюху.

— Далекко! — грубо ответил Макевнин. — Такси туда не ходят.

Все понимающе заулыбались.

Воспользовавшись тем, что все смотрели в другую сторону, Виноградов пошел.

На темной лестнице вдруг кто-то взял его сзади за локоть. Он обернулся — Риммуля.

— Простите, — сухо проговорила она. — У меня к вам конфиденциальный разговор — там, внизу, было неловко... Зачем вы ходите к Тише?

— Не знаю, — озадаченно пробормотал Виноградов. (Действительно, этого он не знал.)

— Так вот, прошу вас больше не приходить!

«Что за напасть?» — мгновенно вспотев, подумал Виноградов.

— А почему? — глупо спросил он.

— Вы прекрасно знаете (?!!), у Тихона есть... известная слабость, и всякие лишние гости — тем более такие бессмысленные — ему ни к чему.

— ...Простите, — пробормотал он.

«Да-а! — проходя обратно по дворам, думал он. — Правильно говорит иностранная поговорка: „Определиться — значит сузиться”. Вот Макевнин сузился — сараюхи, а может, и был таким, — и все у него ясно и четко. Приходят определенные гости, любители сараюх, приносят выпивку и еду, и даже специальные амазонки охраняют тухлый его дар!»

Было уже поздно стремиться сегодня еще куда-то. Он поехал домой. Вообще родители в свое время выменяли эту квартиру как отдельную, но потом неожиданно обнаружилась светелка, в которой жил маленький старичок. И вот родителей уже нет, а старичок прекрасно живет...

— Ну, как дела? — бодро спросил он, когда Виноградов зашел к нему.

Прожив большую часть жизни в этой комнатке, из них последние двадцать лет в основном сидя в валенках и душегрейке перед телевизором, он тем не менее мнил себя обладателем колоссальной мудрости и считал себя ответственным за воспитание Виноградова.

— Как дела? Что нового? Как здоровье? — вопросы были одни и те же и отвечать на них нужно было быстро и обязательно одно и то же — любое изменение, даже простая перестановка слов повергали соседа в полное недоумение.

Но сейчас ему было не до разговоров — он напряженно смотрел в телевизоре хоккей.

— Просто жалко этих американцев! — наконец, сочув-

ственно проговорил он. — Просто жалко, по-человечески, — что с ними тут делают!

Виноградов посмотрел на него, потом — на огромных американских хоккеистов, жующих резинку, и особой жалости, надо признаться, к ним не испытал.

Следующий день был свободный. Виноградов поехал в Манеж, на осеннюю выставку.

В первом зале он увидел одну из макевнинских сараюх.

Во втором зале висела картина К.

— Так... все ясно! — посмотрев на картину, пробормотал он.

На картине был двухэтажный дом — «Дом счастья», как сразу же назвал его Виноградов. Все вокруг дома было наполнено ощущением счастья, и сделано это было отнюдь не только с помощью света — свет как раз в картине был неяркий. Это походило на знакомый всем сон: когда оказываешься вдруг в каком-то месте, где, точно знаешь, никогда не был, и в то же время чувствуешь, что был здесь когда-то счастлив.

Как это было сделано — абсолютно непонятно!

Вечером была еще одна радость — передавали из Манежа интервью с несколькими художниками, и среди них был К.

Сначала он говорил плохо, потом сказал фразу удивительно точную и неожиданную: «Если хочешь сказать что-то новое, надо сказать это как минимум дважды, иначе все подумают, что ты просто оговорился».

— Скажем дважды! — радостно бормотал Виноградов. — Если понадобится — и трижды!

Весь следующий воскресный день он с наслаждением рисовал. Вечером вдруг раздался звонок, он хотел крикнуть: «Не открывайте!», но старичок уже радостно бубнил с кем-то в передней.

Дверь в комнату повернулась... Риммуля!

«Проклятье... как она здесь-то меня нашла? Море глупости пришло от чего-то в движение!»

— Добрый день! Точнее, вечер! — отрывисто заговорила она. — Мне Тиша все рассказал. (Что — «все»?) Простите, я была с вами недопустимо резка.

— А... ну, это ничего, — нетерпеливо проговорил он.

— Нельзя ли хотя бы одним глазком взглянуть на ваши работы?

— Пожалуйста, хоть тремя! — ответил Виноградов, потом только сообразив, что формулировка эта может ей не понравиться.

Виноградов поставил на диван две последние свои работы.

— ...Отсвечивает, — пробормотал он, утирая пот.

Римма, откинув голову, долго, неподвижно глядела на работы.

— Поздравляю! — неожиданно проговорила она. — В нашем полку прибыло!

Она энергично тряхнула ему руку. Минут девять, шатаясь по комнате, Виноградов выслушивал речь Риммы.

— Вот оно, оказывается, что... Талант! Та-ла-лант!

— Простите, не могу отказать себе в удовольствии представить вас Георгию Михайловичу.

— А кто это Георгий Михайлович?

— Мой муж.

— А-а-а.

— С ним вы можете откровенно поговорить о ваших делах. Едемте.

— Неудобно... вдруг окажутся какие-нибудь лишние люди...

— Кого вы имеете в виду?

— Ну... Онегин, Печорин.

— Ну что вы!

Виноградов залез по пояс в темный шкаф, высккивая, что бы надеть, потом выбрал почему-то теплый свитер. И они вышли.

— Извините, — уже на улице вдруг спохватилась она. — Я заскочу на минутку в кафешку — все-таки не худо бы предварительно позвонить.

— Все чудесно! — проговорила она. — Георгий Михайлович нас ждет. Правда, он слегка приболел, но это ничего.

В метро Римма долго разговаривала с каким-то огромным человеком с рыжей бородой.

— ...я ей говорю: Танюша, милая! — доносилось до Виноградова. — Ты пойми, он же незаурядный человек, нельзя... Она мне говорит: Риммуля, милая!..

«Вряд ли так было — Риммуля, милая! Врет!» — внезапно вдруг почувствовал Виноградов.

Георгий Михайлович оказался плотным человеком, с волосами, торчавшими из ушей и носа.

— Простите великодушно, что принимаю вас в халате, — добродушно улыбаясь, говорил он. — Как говорится, сражен недугом. Тем не менее весьма рад, что Риммуля вас к нам приволокла. Всякое свежее лицо, тем более... Художник! Да-да, не спорьте! Но расскажите же, как у вас получилось? Неужели же ваши картины ни разу не выставлялись? Непременно поговорю о вас с Александром Прокофьевичем. На него иногда нисходит, — насмешливо-успокоительно рокотал Георгий Михайлович.

Обласканный, напоенный чаем Виноградов поздним уже вечером приехал домой.

В понедельник (удачи идут полосой!) он, к счастью, за-

болел гриппом, видимо, заразившись от Георгия Михайловича, — можно было не идти в музей, а рисовать.

Правда, вечером неожиданно явился Шицкий, вроде навестить больного коллегу, но привел зачем-то с собой большую команду — как выяснилось, «магов и оккультистов».

Они потребовали от него принести зачем-то таз с водой, встав возле таза на колени, долго смотрели в воду, потом, неожиданно крикнув: «Астрал!», вместе шлепнули ладонями по воде и долго внимательно смотрели, какими путями стекает по стенкам вода.

Часов около двенадцати они ушли, но остались Шицкий и самый главный маг — бритый наголо, с забинтованным лбом.

Сперва маг долго молчал, потом вдруг, внезапно предложил выделить свое астральное тело. Виноградов испуганно отказался.

Потом Шицкий кивком вызвал Виноградова в коридор.

— У тебя пока поживет, — проговорил Шицкий, кивая в сторону мага.

— Нет уж!

— Ты что? — изумленным шепотом заговорил Шицкий. — Знаешь, что это за человек?! В памяти людей будет жить!

— Ну и пусть живет в памяти людей, а не у меня в квартире!

— Так, да?

— Да, выходит, что так!

Поработать после их ухода уже не вышло — сосед в светелке, жалобно кашлял. Чем-то расстроенный, Виноградов бродил по коридору, потом вдруг, решившись, поднял трубку и позвонил.

— Извините, Георгий Михайлович, наверное, я поздно звоню?

— Ну что вы!.. Мы же с Риммулей настоящие полуночники. В доказательство могу сообщить, что супруги моей еще нет дома! — добродушно-шутливо рокотал его голос.

— ...Большое вам спасибо, Георгий Михайлович! — в заключение сказал Виноградов и повесил трубку.

Всю следующую неделю он работал, а вечера проводил в основном у Георгия Михайловича.

Однажды он встретился там со своим другом: Алик Сатановский читал стихи.

Присутствовали: всем известный С. (знаменитый тем, что в 55-м году первый прошел от Дома отдыха до моря в шортах, что было тогда поступком большого мужества), еще один, элегантно-красивый редактор утренней зарядки, известный своими прогрессивными взглядами в области зарядки, и Георгий Михайлович,

«...И пойду я с по-сохом по-суху!» — раскачиваясь, читал Сатановский.

Все тонко улыбались, и Виноградову тоже пришлось тонко улыбаться, хотя он слышал уже подобные вирши десятки раз.

Дальше начались возгласы: «О Дюфи!», «О Делани!», «Босх есть Босх!» (надо быть совсем уж ненормальным, чтоб утверждать обратное).

...Да, не надо иметь особой смелости, чтобы говорить, что Клее — гений, — через сорок лет после его смерти!

Единственным умным человеком казался тут Виноградову трехлетний хозяйский ребенок, который подошел к нему и доверительно сказал:

— Спать хочу, ну буквально валяюсь с ног!

Но его никто не слышал и не понимал.

— Георгий Михайлович, — наконец, не выдержав, врезался Виноградов в разговор. — А как с моими делами — вы обещали узнать?

— Уверен, уверен, что все будет благополучно, убежден в вашем таланте, более того — являюсь горячим его поклонником, более того — активным его проповедником! Вот свидетели не дадут соврать — не далее как перед самым вашим приходом...

— Но вы же не видели еще моих картин.

— Мне достаточно слов моей супруги, у Риммули — безошибочное чутье!

— Но может быть, все-таки зайдете? Найти меня легко...

— Нет, нет! — шутливо поднимая руки, проговорил Георгий Михайлович. — И не пытайтесь объяснять — не пойму. Абсолютный топографический идиот!

...Короче, стало ясно, что картины его он смотреть и не собирается.

Пользуясь тем, что разговор переметнулся, Виноградов вышел в прихожую.

— ...что делать — все мы смертны! — доносился густой голос Георгия Михайловича.

«Опять врет!» — подумал Виноградов.

— Сматываетесь? — сказал Георгий Михайлович, появляясь в прихожей. — Разрешите, пользуясь случаем, всучить последний мой труд.

Через два дня он снова позвонил Георгию Михайловичу, хотя было уже ясно, что тут все глухо. Достаточно было прочесть хотя бы одну строчку его статьи: «...Роман написан весьма умело, хотя и недостаточно искусно даже для обычной ремесленной поделки...» Что означает эта фраза? Видимо, ничего!

«Есть ли берега у моря глупости?» — уже с отчаянием думал Виноградов, слушая гудки.

— ...Георгий Михайлович? — заговорил он. — Здравствуйте. Это Виноградов. Помните, вы хотели про меня поговорить... кажется, с Алексеем Прокофьевичем, если не ошибаюсь?

— ...Я с ним говорил, — после паузы произнес Георгий Михайлович.

— Обо мне?

— ...Ну конкретно о вас мы не говорили, но вообще-то я высказал ему все, что хотел!

— Не верьте ему — он все врет! — вдруг послышался в трубке звонкий юношеский голос.

Потом послышалась какая-то возня и снова рокочущий бас Георгия Михайловича.

— А что мой последний опус? Прочли?

— Конечно.

— С ослабевающим интересом? — пошутил Георгий Михайлович.

— С ослабевающим.

— ...Как?

— С ослабевающим!

— Да... так о нашем деле, — после долгой паузы заговорил он снова. — Зайдите ко мне во вторник... нет, во вторник сложно... в субботу.

— А кто вам сказал, что я вообще собираюсь к вам заходить? — сказал Виноградов и, насладившись паузой, бросил трубку...

Когда в понедельник, еле волоча ноги, он вернулся с работы, сосед встретил его уже в прихожей.

— Только что заходил ваш приятель, кажется, Сидоренков — весьма разумный молодой человек.

«Спелись!» — подумал в ужасе Виноградов. И в тот же миг раздался резкий звонок.

— Не открывайте! — хотел крикнуть он, но сосед уже радостно брякал щеколдой.

Вразвалку, не здороваясь, Сидоренков прошел в его комнату и, подбоченясь, стал рассматривать картину.

— Грудь же не так рисуется... Дай.

С огромным трудом Виноградов оттащил его от полотна.

— Не раздевайся... сейчас идем.

— Куда?!

— ...Не твоего ума дело.

Виноградов покорно поплелся за ним.

Они приехали в какое-то двухэтажное учреждение. (Вывеску Виноградов не успел разглядеть.) Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Дизайном занимался?

— Нет.

— Будешь.

Он открыл дверь. Посредине большой светлой комнаты на столе стоял гроб.

— Вот! Для тебя приберег! — кивая в сторону предмета, проговорил Сидоренков.

— В каком смысле — для меня?.. Дизайн гроба?

— Доволен?

— Нет!

...Когда они вышли, наконец, из учреждения, Сидоренков сказал:

— Эх ты! Ведь по деньгам ходил!.. По колено же в золоте ходил! Не пойму, зачем надо так по-дурацки жить!

Кое-как отвязавшись от него, Виноградов долго бежал и, наконец, запыхавшись, прибежал к пивному ларьку.

В согнутой руке он поднес кружку ко рту, вытянул трубочкой губы, предчувствуя наслаждение.

— Да пиво же не так пьется! — сказал вдруг Сидоренков, появляясь рядом. — Дай!

Виноградов протянул ему кружку.

— Натыкается сначала соль по ободку (Сидоренков вытянул из кармана щепоть соли)... После берется яйцо (Сидоренков почему-то любил безличные обороты).

Виноградов покорно пошел в магазин, принес яйцо.

— ...протыкается с двух сторон иглой...

«Где же иглу взять?»

Сидоренков достал из кармана булавку.

— ...протыкается и выдувается в пиво... И пьется. Только так.

«Вот сволочь! — глядя на Сидоренкова, думал Виноградов. — Даже если я буду умолять, например... хотя бы похоронить меня в гробу неустановленной формы — скажем, как круглый пенал, — так ведь не даст, будет всем доказывать, что гроб нормальной формы гораздо удобнее!»

К Макевнину, что ли, поехать?

Уже спустившись к Макевнину в мастерскую, Виноградов услышал там бляение Георгия Михайловича, но, махнув рукой, все же вошел. Кроме Георгия Михайловича и Риммули, укутав подбородок в шарф, сидел Шицкий. (Он-то как здесь оказался?)

— Ты почему не был на похоронах Ц.? — внезапно устремляя на Виноградова свой взгляд, жестко спросил Шицкий.

— Просто... когда кто-то знакомый умирает, я стараюсь не видеть, как его хоронят!

— Ладно, хватит цапаться-то! — добродушно проговорил Макевнин. — Лучше выпьем. Один раз все ж таки живем!

«Ты-то, по-моему, уже много раз живешь!» — глядя на Макевнина, подумал Виноградов.

— Смотри, какую я сараюху намалевал...

Кроме уже знакомых лиц, тут еще находился поэт Савельев — совсем недавно, видимо, притулившийся к этому дому, автор поэтического сборника «Стакан зари».

Ко всем остальным тут Виноградов уже как-то привык, но стихи Савельева он воспринимать спокойно не мог.

«Без березы не мыслю России!» Колоссально оригинально! А кто — мыслит? И тем не менее Савельев регулярно выступал перед аудиториями, готовился новый его сборник, имя его повсюду звучало.

И вообще, недавно понял вдруг Виноградов, эти люди занимались отнюдь не искусством, а лишь устраивали свои дела.

Макевнин через своего друга — рыхлого инспектора-искусствоведа — то и дело загонял свои картины в какие-то дальние города. Георгий Михайлович пачками печатал свои бессмысленные статьи. И даже специалист по магии и оккультизму Шицкий, которого трудно было назвать просто нормальным, и тот, как недавно Виноградов с изумлением узнал, успешно загонял, свои «Шары», которые рисовал.

— Ненавижу! — тихо проговорил Виноградов.

— ...Кого? — опешил Макевнин.

— Тут — всех!

— А-а-а-а... ясно! — вставая с топчана, заговорил Макевнин. — То-то я давно уже приглядываюсь — что, думаю, за человек? Теперь ясно! Ясно, откуда ветер дует!

— Молчи, болван! — почувствовав вдруг на глазах слезы, Виноградов шлепнул Макевнина ладошкой по лбу.

— А-ах, уже так? — запел Макевнин.

Они били его довольно крепко — Макевнин и, как это ни странно, Шицкий, не жалея сил, времени и главное — таланта!

Наконец, Виноградов, защищенный Георгием Михайловичем, выскочил наверх. Чтобы пройти по городу в таком растерзанном виде, не привлекая внимания, Виноградов решил прикинуться пьяным, и эта остроумнейшая, как ему почему-то показалось, выдумка вдруг привела его в полный восторг.

Он шел, раскачиваясь, распевая.

«Вот тут, — вспомнил он, — находится один „дом“, где не так давно в уютной компании вел он приятные разговоры об искусстве и, уходя, получил приглашение „забегать“, — видимо, для осуществления продления аналогичных бесед».

«Представляю, какой будет шок, если прийти сейчас — окровавленным и попросить хлеба!» — Виноградов усмехнулся, и с этой усмешки, видимо, и началась новая полоса его жизни.

На другой день он после работы долго ходил по городу,

хотя болела нога: обломок колонны вдруг стал падать с тележки, и пришлось подставить ногу... но это неважно! Важно — как замечательно было все то, что он видел вокруг.

...Вот хлопнула дверца машины, и голуби, столпившиеся возле крошек, вдруг вздрогнули—все одновременно. Потом один голубь вдруг решительно пересек лужу и дальше шел, уже печатая мокрые крестики. Виноградов оглянулся — не видит ли этого кто-то еще? Но люди, сидевшие на скамейках, не смотрели на это, вернее, смотрели, но не понимали, насколько это важно и интересно!

Виноградов понял вдруг, что даже если он сблизится с К., тот не сможет сказать ему ничего более важного, чем: «Ходи! Смотри! Работай! Остальное устроится!»

Когда стемнело, Виноградов пошел в Публичную библиотеку — глаз его еще не насытился, хотелось смотреть еще — пусть даже то, что увидели до него старые мастера.

Взяв несколько альбомов, Виноградов пошел по рядам и вдруг увидел Сережу Кошеверова, монтажника-эрудита, — макушка его чуть торчала из-за исторических томов, заполнивших стол.

— Здорово... в вуз готовишься? — проговорил Виноградов.

— Да нет, — не совсем довольный тем, что его оторвали, ответил Сергей. — Перед свиданием с одной особой решил освежить в памяти некоторые даты.

— А когда свидание-то? — оглядывая стопу книг, заинтересовался Виноградов.

— Да уже пора! — со вздохом ответил Кошеверов.

— Давай, отнести помогу, — Виноградов поднял часть книг.

Они подошли к сдаче. Кошеверов пребывал в глубокой задумчивости.

— Стоп! — вдруг проговорил он. — Забыл, когда была битва при Фермопилах!

— Но, может быть... это неважно? — решился предположить Виноградов.

— Глупости-то не говори! — строго глянув на него, проговорил Кошеверов и понес книги обратно к столику.

— Молодец! — почти с завистью подумал Виноградов.

Поздним вечером неожиданно позвонила Риммуля.

— Я вам звоню по поручению Тихона, — заговорила она. — Он признает, что вчера вспылал, и готов принести вам свои извинения. Короче, он хотел бы с вами встретиться.

«Да нет, „вспылал“ — это немножко не то слово», — подумал Виноградов.

— А где вы находитесь-то? — спросил Виноградов (просто для того, чтобы хоть что-то сказать).

— У К., — сухо ответила Римма.

— У К.! — от горя Виноградов чуть не выронил трубку. — У К.!!

Неужели и его тоже захлестнуло море глупости?

Не может этого быть... Тогда — конец!

— А что вы там делаете-то? — после долгого молчания проговорил он.

— Так. Некоторые не совсем приятные функции, — отрывисто проговорила Римма.

— Что за функции-то — не пойму. Яснее говорите! — закричал Виноградов.

— Что может яснее-то быть? — усмехнувшись, сказала Римма. — Сорвался снова наш уважаемый мэтр!

— Не может быть!

— Приезжайте — убедитесь.

— Ага... можно я приеду? — закричал Виноградов.

— Пожалуйста! Адрес вы, надеюсь, знаете?

Виноградов поехал в сторону К.

Вообще он что-то не слышал, чтобы хоть один талантливый человек за всю историю человечества спился, но вдруг!

Ему открыла скромно-торжествующая Римма, провела его в кухню. За круглым столом сидела хмельная группа: Шицкий, расстегнуто-нечесаный Макевнин и, к ужасу Виноградова, Сидоренков!

— Да-а... зопил старик! Зопил! — раскачиваясь, горько-радостно заговорил Макевнин. — Я его предупреждал!

Виноградов оглядел всю эту компанию, потом спросил удивленно:

— А где К.?

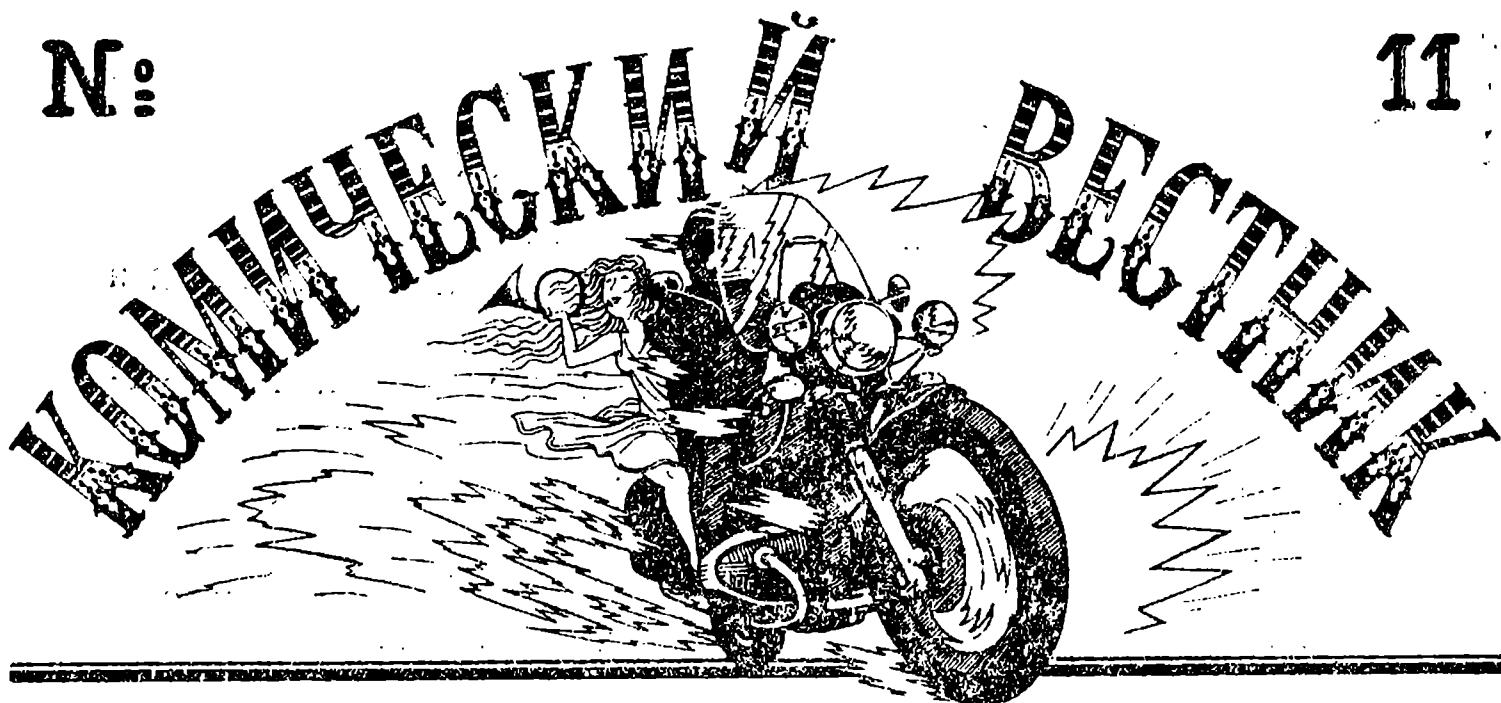
— С утра не приходил! — сдержанно-скорбно произнесла Римма.

И вдруг в кухню вошел К. — причесанный, гладко выбритый и, что самое поразительное, абсолютно трезвый — только что вернувшийся из бассейна, как он сообщил. Он долго пытался объяснить, что с ним-то как раз все в порядке и вообще он никогда не пьет. Но это не помогало — за его спиной все многозначительно переглядывались, вздыхали, шептали друг другу: «Ну, видишь? Что я тебе говорил?»

Видимо, уже отчаявшись, К. неожиданно подошел к Виноградову.

— Вы, кажется, единственный здесь человек, с которым можно нормально говорить...

«Неужели я пересек, наконец, море глупости?» — подумал Виноградов, следуя за ним.



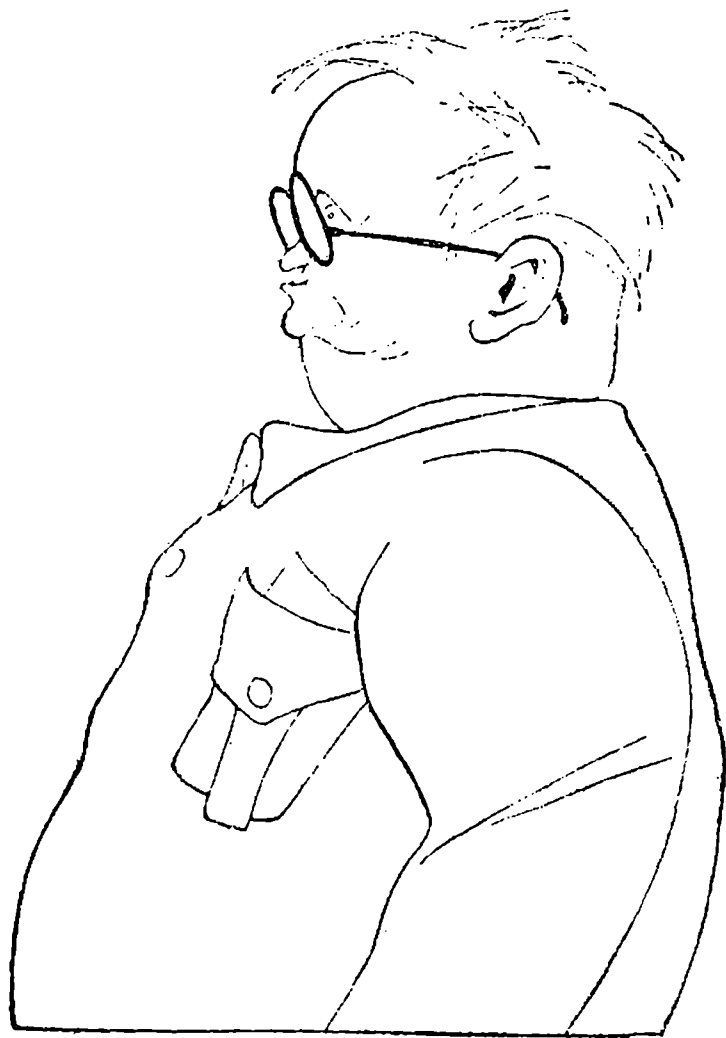
ИЗ ИСТОРИИ
САТИРЫ

Д. МООР

Кто хоть однажды видел плакаты «Ты записался добровольцем?» (1920) и «Помоги!» (1921), тот уже вряд ли их забудет. Красноармеец с властным призывом встать на защиту завоеваний революции и старик крестьянин, взметнувший кверху свои истощенные руки, — эти ярчайшие и предельно лаконичные образы, концентрирующие в себе колоссальную эмоциональную энергию, созданы Дмитрием Стахневичем Орловым, который подписывал свои произведения псевдонимом Д. Моор.

В этом месяце исполняется 100 лет со дня рождения замечательного художника, оказавшего благотворное влияние на целое поколение молодых графиков. Моор активно сотрудничал во многих журналах, был одним из организаторов «Крокодила», успешно работал в «Правде», вместе с Владимиром Маяковским, Михаилом Черемных, Иваном Малютиным принимал участие в выпуске «Окон РОСТА». Огромное значение придавал Моор притоку в советское искусство новых творческих

сил, много сделал для выдвижения даровитой молодежи из рядов рабочей художественной самодеятельности. Он руководил занятиями с молодыми карикатуристами «Комсомольской прав-



Публикуемый автошарж сделан художником в 30-е годы.

ды», в течение ряда лет был профессором по кафедре плаката в высших художественных учебных заведениях Москвы: во Вхутеине, затем в Полиграфическом и Московском художественном институтах. В 1932 году Дмитрию Стахивичу было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Моор по праву считается одним из основоположников советского политического плаката. В многочисленных рисунках видна виртуозность графической техники Моора, меткость его сатиры, блеск остроумия, неистощимость фантазии, глубина и социальная актуальность содержания.

ВЕСТИ

С КНИЖНЫХ ПОЛЕЙ

Всякому, кто интересуется юмором в «Неделе» и пишет сам, хорошо известно творчество И. Ярославцева. На память сразу приходят строки из его произведений: «Ваш рассказ нам не подошел...», «К сожалению, Ваши стихи нас не заинтересовали...», «С интересом прочел Ваши новые пародии. Они намного лучше тех, которые Вы присылали первые шесть раз, но, к великому сожалению, нам не подошли...», «Ваши карикатуры нам понравились. Попробуйте предложить их в журнал „Здоровье“. Искренне Ваш...». Да, это он — редактор отдела юмора «Недели» Игорь Ярославцев. У Игоря есть и маленькое хобби: он сам в свободное от работы время любит писать веселые рассказы, сценки и миниатюры. В этом вы легко убедитесь, если с удовольствием прочтете его книжку «ТРИНАДЦАТЫЙ ОТДЕЛ» (М.: Искусство, 1983. — 68 с.).



СЛОВАРЬ

ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

ПРИПЕВ — рефрен. А говоря короче, П. — это ритмически повторяющиеся вслед за строфой слово или группа слов, стих или группа стихов и т. д., которые нередко отличаются от остального текста стихотворным размером. В современной песне на припев ложится все бóльшая и бóльшая смысловая нагрузка, например:
Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!
или:

Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!
или же иначе:

Ой, ля-ля! Ой, ля-ля! Ой, ля-ля!





ГЕНРИ СЭМБРУК ЛЕЙ

Г. С. Лей (1837—1883) — английский поэт и драматург, автор нескольких книг стихов и пьес. Многочисленные исследования в области испанской, португальской и французской литератур не помещали ему, как утверждают современники, быть блестящим и остроумным собеседником, а также исполнителем комических песенок. Сейчас большинство стихов Лея забыто. Лишь изредка в антологиях английской юмористической поэзии появляются его произведения, одно из которых мы и предлагаем вашему вниманию.

БЛИЗНЕЦЫ

Мы с братом телом и лицом
Похожи были так,
Что не могли и мать с отцом
Нас различить никак.
Родня рассорилась вконец,
Накал страстей крепчал:
Ведь кто-то был из нас близнец,
Но кто — никто не знал.
Однажды няня нас купать
Решила (вот беда!)
И перепутала опять —
Теперь уж навсегда.
Когда же нас крестили с ним,
Брат Джон был наречен
Законным именем моим,
Меня ж назвали Джон.
А в школе не было и дня,

Чтоб я спокойно жил:
Ах, сколько раз секли меня
За то, что брат шалил.
Вопрос неразрешим, увы:
Когда б вы были мной,
Как доказали б вы, что вы —
Вы, и никто другой?
Мне это сходство, как недуг,
Мешало все сильнее.
Моя невеста стала вдруг
Невесткою моей.
Вот так, как будто глупый сон,
Тянулась жизнь моя.
Когда я умер, погребен
Был брат мой, а не я!

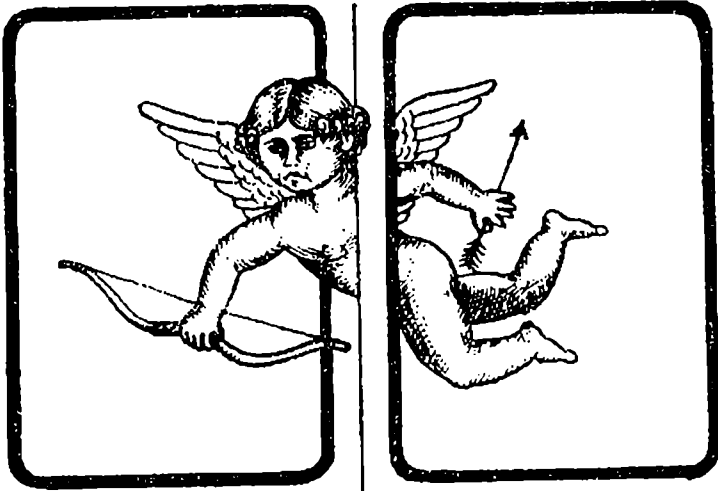
Перевел Иван Русецкий

*Загнем наступать на горло собственной
песне, когда есть чужие?*

Григорий Яблонский

*Опоздание — не всегда нарушение трудовой
дисциплины. Все зависит от того —
с работы или на работу. С. Шавгаров*

Андрей КУТЕРНИЦКИЙ



СУДЬБА

Вагон пригородной электрички плавно покачивается, изломанные тени от деревьев и телеграфных столбов стремительно летят по его грязной зеленой стене. Напротив Сысоева у окна сидит девушка.

Ему хочется заговорить с ней, но слова не возникают, и он только глупо улыбается. Тогда он решает проверить судьбу. «Если девушка не сойдет в Белоострове, — говорит он себе, — значит, она будет моей женой». Сысоев с волнением ждет Белоостров, но незнакомка не проявляет к Белоострову никакого интереса. Тогда он загадывает: «Если она не сойдет в Солнечном...»

А потом загадывает: «Если она не сойдет в Репине...» Но она не сходит ни там и ни там.

За окном возникает пейзаж Зеленогорска. Сысоев поднимается со скамьи и идет в тамбур, успокаивая себя рассуждениями о том, что незнакомка замужем или любит другого, ибо она слишком красива, чтобы быть в одиночестве. Вагон останавливается, и Сысоев выходит. Зеленогорск — его остановка, он здесь живет. Автоматические двери с шумом захлопываются за его спиной.

И вдруг Сысоев начинает понимать, что упустил собственное счастье. «Трус! — ругает он себя, глядя на неприступную электричку. — Жалкий трус! Почему она обязательно должна быть замужем?! Может, у нее вообще никого нет? Ах, если бы вновь оказаться рядом с нею! Если бы двери еще раз открылись, я бы уж не растерялся. Я вбежал бы в вагон, кинулся к ней и, никого не стесняясь, сказал бы...»

Внезапно двери разлетаются в стороны. Сысоев с удивлением смотрит в открывшийся проем, все еще не веря, что получил возможность беспрепятственно сделать шаг и вновь очутиться в вагоне. Вид открытых дверей так поражает его, что он долго стоит, словно испытывая фортуны: будет ли она и в следующую секунду благоприятствовать ему? И как сладостно так стоять, сознавая, что фортуна благоприятствует!

«Судьба!» — с восторгом думает Сысоев. Пьянящая, безудержная радость охватывает его душу. Ему хочется взлететь в небеса, ему хочется завизжать от счастья: «Я нашел ее! Я нашел ее!» Но в тот же момент двери захлопываются, и электричка уносит незнакомку навсегда.

Нитки не даются так дешево, как презрелие к деньгам.

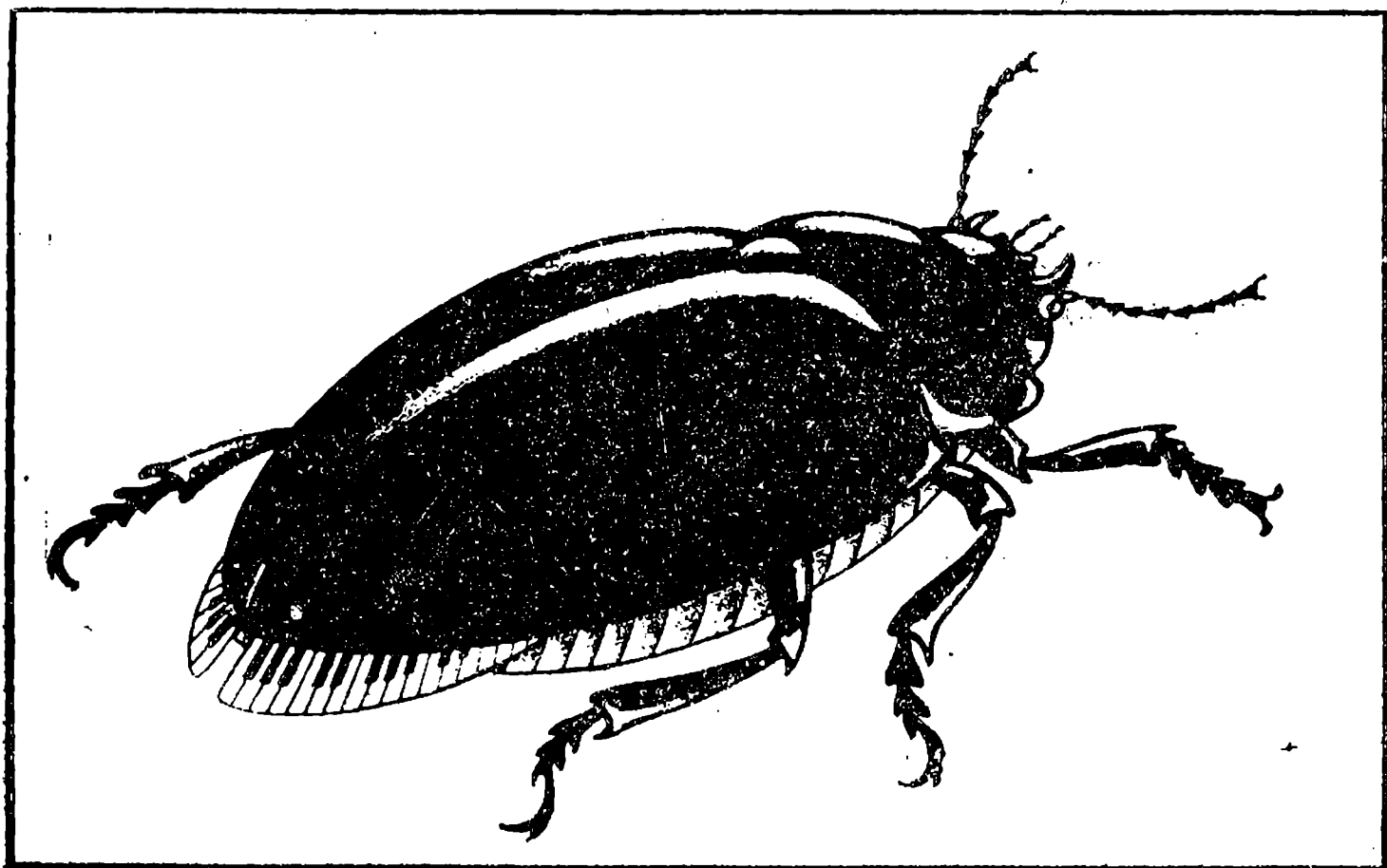
Сергей Чилингарян

Авторитет — как сберкнижка: сначала все работает на него, потом он работает на вас.

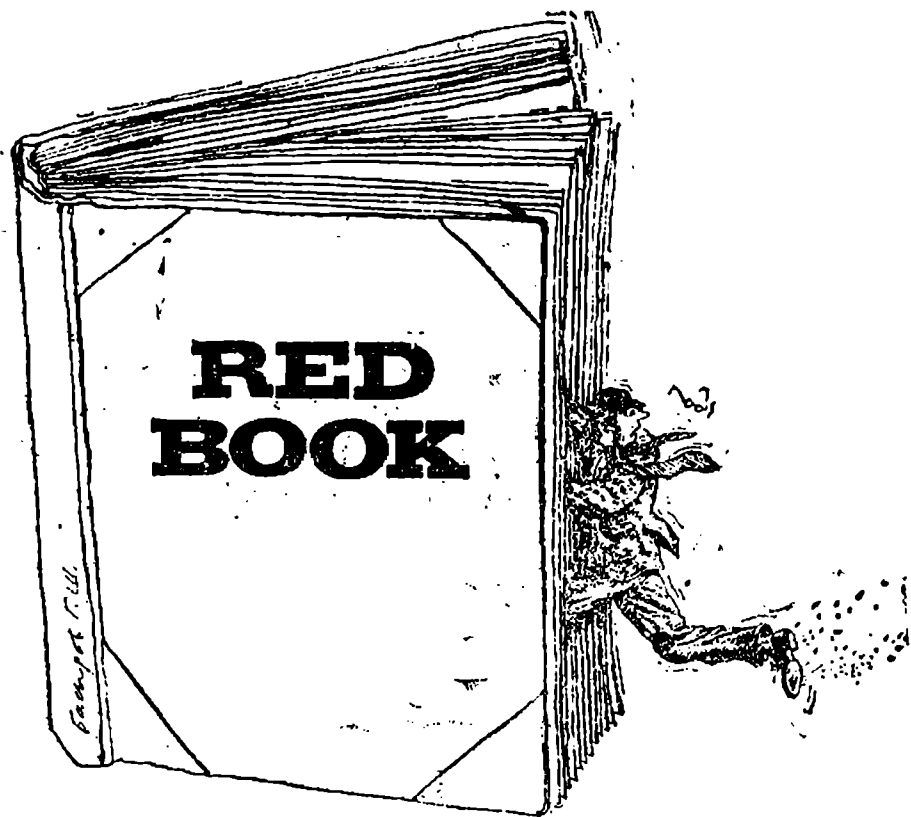
И. Илюшин



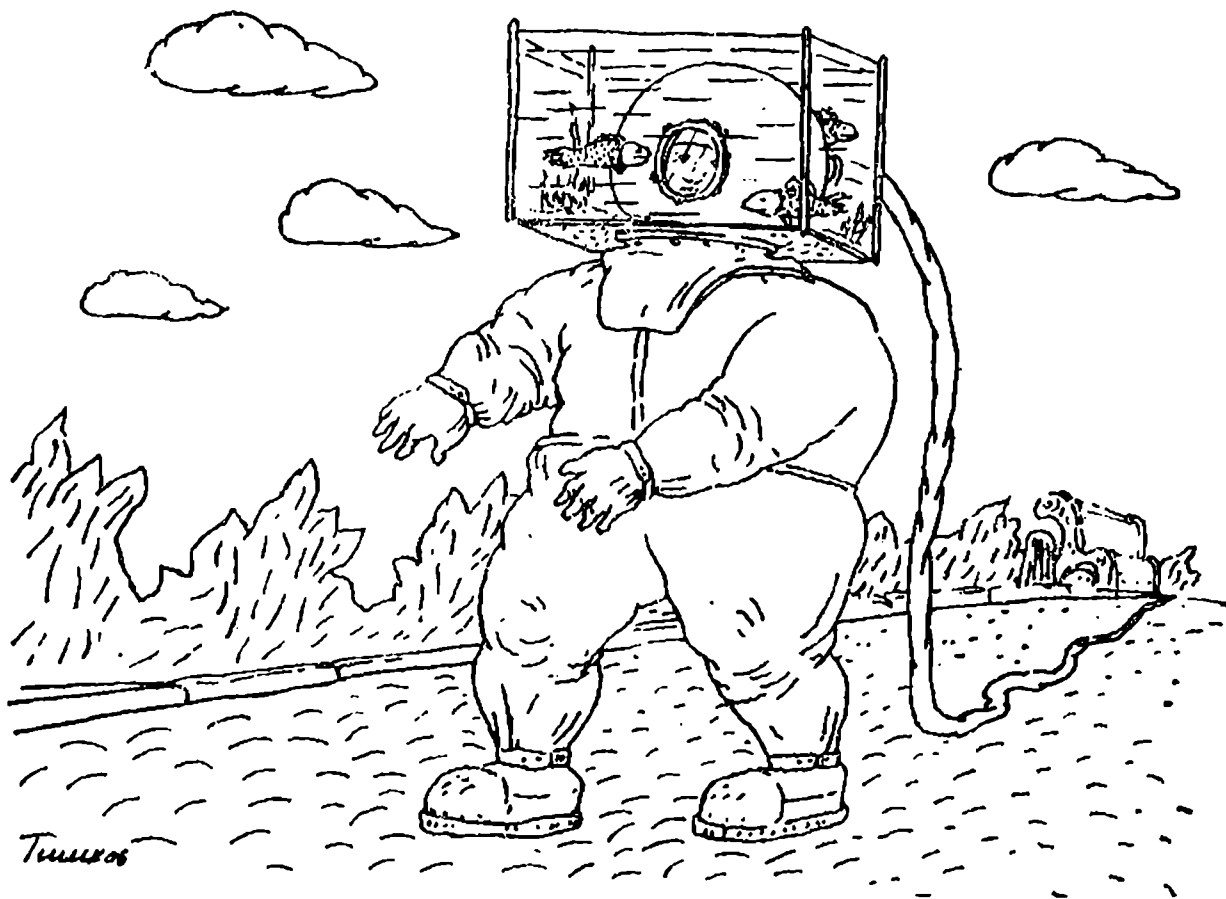
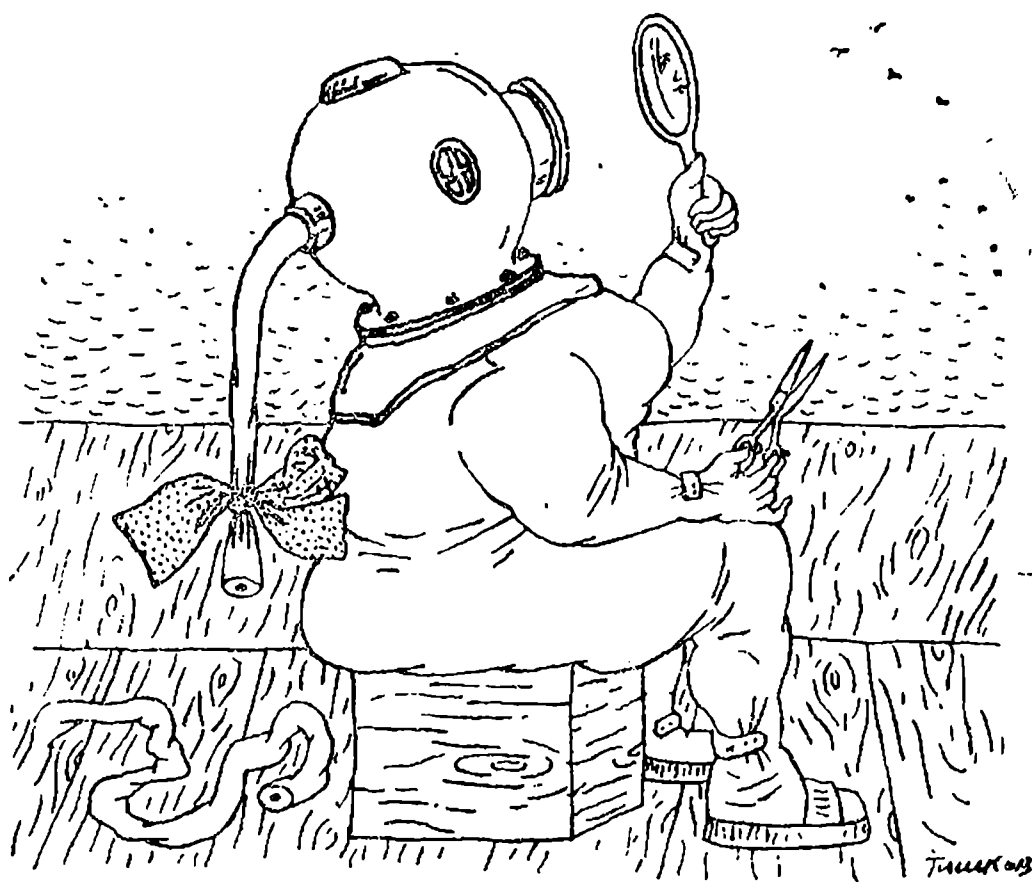
Рисунки Георгия Светозарова



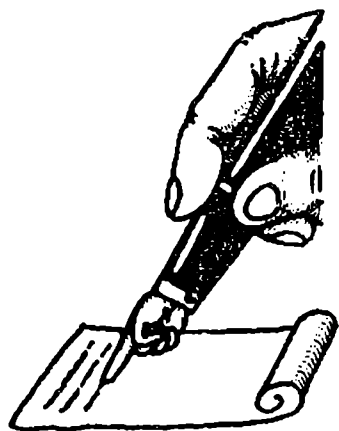
Рисунки Гарифа Басырова



Рисунки Леонида Тишкова



Когда сценарий пишут двое, один из них
обязательно автор.
Хотя извилин не видно, но когда их нет —
это очень заметно. Михаил Генкин



Заставь дурака рыбакить, так он всю рыбу
выловит.
Когда мир молчит, его лучше не перебивать.
Владимир Голобородько

Станислав ГЕРАСИМОВ

случай на
домостроитель
ном
комбинате

Слесарь Митронин пронес через проходную почти новую швабру. Вахтер Данилыч удивленно посмотрел ему вслед и почесал затылок.

В последующие дни Митронин пронес банку краски, кулек гвоздей и новое оцинкованное ведро.

Данилыч прямо не знал, что делать. Сколько лет он стоял в проходной, а такое видел впервые! Но когда Митронин пронес упаковку импортной облицовочной плитки, опытный вахтер не выдержал и позвонил на участок, где работал слесарь.

— Ну, Митронин, — сказал токарь Савельев, когда все собрались, — расскажи нам, как ты додумался до этого.

— Так не я ж один несу, другие вон... — стал оправдываться Митронин.

— Ты на других не сваливай! — повысил голос Савельев. — Другие в открытую не волокут! И потом они с работы тащат, а ты... на работу!

— Ну и что? — сказал Митронин. — Удовольствие то же получаешь: всё не с пустыми руками через проходную идешь. И через забор лазить не надо. Сплю теперь хоть спокойно.

Вокруг стояла напряженная тишина. Потом все стали расходиться. Кто-то захватил принесенную Митрониным плитку.

«Ну что ж, — подумал Митронин, — ведь кто-то и с работы начал первым таскать. Его, наверное, тоже не понимали. Но потянулись же за ним другие, а сейчас... Ничего. Будут и у меня последователи».

Он вздохнул и направился в раздевалку — оклеивать ее принесенными из дому обоями.

Женщина гнет свою линию, пока она не примет форму семейного круга.

Если человек одержал над собой победу, он победитель или побежденный?

Будешь высоко летать — залетай!

Александр Раинер



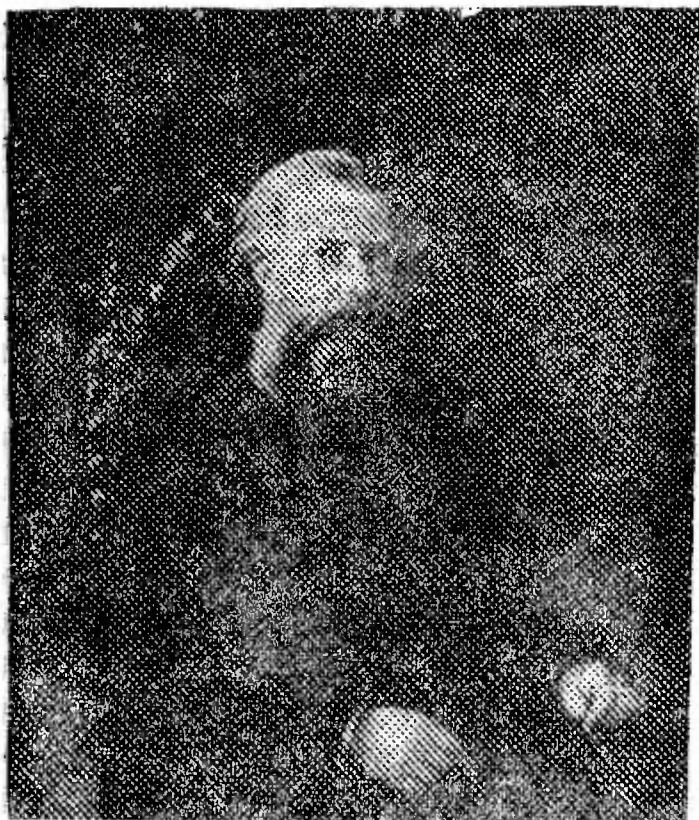
Век нынешний и век минувший...

Псковская картинная галерея входит в состав комплекса Псковского государственного историко-художественного и архитектурного музея-заповедника. Древняя псковская земля славится своей богатейшей историей и культурой. Сегодня Псков, являясь промышленным и культурным центром, современным городом с корпусами заводов, институтов, школ, театров, помнит и чтит свою историю, которая стала частью общерусской культуры.

В создание Псковского музея значителен вклад энтузиастов. В 60-х годах XIX века при псковском статистическом комитете образовался кружок любителей старины, который вначале занялся просветительской работой, а спустя несколько лет взял на себя роль создателя музея. Музей был открыт 8 мая 1876 года. 109 человек из Пскова, Петербурга, Новгорода, Вологды и других городов России подарили ему свои коллекции.

Более чем столетняя история псковской коллекции — это история удивительного подвижничества многих людей. Ведущую роль играли частные коллекционеры, такие, как А. Н. Мицкевич, завещавший свое собрание картин, бронзы и мрамора «...родному городу Пскову, дабы положить в нем основание художественному музею», Н. Ф. Фандер-Флит, общественный деятель, чьим именем была названа в Пскове художественно-промышленная школа, семья Философовых. Ценным пополнением

стали экспонаты из собрания купца Ф. М. Плюшкина. Его коллекция составлялась на протяжении сорока лет и насчитывала около двух миллионов предметов. Плюшкин опроверг многие существовавшие ранее представления о коллекционировании. Он был коллекционер по натуре. Еще мальчишкой он стал собирать канареек, затем — пуговицы, марки, монеты. Эта всепоглощающая страсть и стала смыслом жизни купеческого сына. Сохранились архивные фотографии «музея Плюшкина», расположенного во втором этаже его дома, — комнаты, где стены сплошь, без просвета, увешаны картинами, крестами, иконами; стеллажи, заставленные посудой, часами, бронзовыми и серебряными предметами быта, заваленные свитками рукописей; витрины с монетами — одних наименований многие тысячи. Впоследствии научные сотрудники, работая с тем, что осталось от коллекции, столкнулись со многими трудностями, но самой большой оказалась странная система учета экспонатов. Федор Михайлович не всегда называл авторов произведений, подчас указывая в списках лишь количество приобретенных вещей. Сам он прекрасно ориентировался в этом обилии предметов, о любом из них мог многое со знанием дела рассказать, но... К примеру, он мог записать, что им приобретено 15 картин маслом на холсте. Чьи картины, кто на них изображен, размеры холстов? А в коллекции — среди проче-



*Н. Н. Ге.
Портрет П. А. Кочубея
1873 г.*



*В. А. Тропинин.
Юный художник (портрет
сына художника)
Конец 1820-х —
начало 1830-х гг.*

го — оказались произведения Айвазовского, Левицкого, Шишкина, Брюллова...

Умер Плюшкин в Пскове в 1911 году. В завещании просил коллекцию за рубеж не продавать, ведь по количеству вещей она признавалась третьей в России и одиннадцатой в Европе. У царского правительства «не нашлось средств» для ее приобретения, и наследники Федора Михайловича все же распродали ее по частям. Так картины и другие предметы из «музея Плюшкина» оказались сейчас в музеях Ленинграда, Москвы, других городов. В Пскове тоже осталась часть собрания — фарфор, стекло, серебряные и бронзовые вещи, шитье, миниатюра и картины.

В 1919 году, в труднейшее для молодой Советской республики время, на основании пятидесяти двух частных коллекций был создан живописный фонд музея, хранящийся ныне в Поганкиных палатах — памятнике псковской архитектуры XVII века. А 1 апреля 1921 года в до-

ме бывшего предводителя псковского дворянства — в особняке на Романовой горке — открылась картинная галерея.

В годы Великой Отечественной войны из удивительной по своему разнообразию коллекции удалось спасти лишь малую толику — очень многое было разграблено и уничтожено гитлеровцами. Именно то, что удалось спасти (из живописного фонда — около 180 полотен), и составило ядро современной картинной галереи, для которой в конце семидесятых годов было построено новое выставочное здание, отвечающее возросшим экспозиционным требованиям.

Такова история этого музея. А если говорить о самой коллекции, то по художественной значимости прежде всего выделяются собранные в ней портреты: они представлены лучшими именами русской школы. В коллекции есть работы Н. Н. Ге и И. Е. Репина — разных по творческому методу и одновременно близких по мироощущению художников-передвижников.

«Мужской портрет» (портрет П. А. Кочубея) написан Н. Н. Ге в 1873 году. Петр Аркадьевич Кочубей был почетным членом Академии наук и на протяжении многих лет являлся председателем Русского технического общества.

Художник дружил с семьей Кочубеев, часто бывал в их доме. Портрет решен очень аскетично: нейтральный темный фон, кресло с сидящим в нем человеком, выхваченные светом лицо и руки. В спокойствии и непринужденности позы угадывается сила и уверенность в себе человека волевого, знающего свою цель в жизни и уверенно к ней идущего. За этот портрет художник был удостоен медали на международной выставке в Лондоне в 1874 году.

Глубокий психологизм сближает Н. Н. Ге с И. Е. Репиным. Экспонируемый портрет Н. Д. Ермакова (1914 год), врача и коллекционера, поступил в картинную галерею в 1930 году из Русского музея. Репин создает образ человека артистичного, эмоционального, увлеченного. У зрителя остается впечатление, что Ермаков не позировал, а художник написал портрет сразу, в один сеанс. Один из

современников об этом портрете Репина писал: «Разве не совершенство... портрет Н. Д. Ермакова?.. Какое искусство — уловить в повороте головы или руки, украшенной драгоценными кольцами и золотым часовым браслетом, всю до тонкости психологию изображаемого лица!»

Это только два имени из множества. В экспозиции музея произведения Щедрина, Брюллова, Рокотова, Боровиковского, Тропинина, Айвазовского, Петрова-Водкина, Кустодиева, Рериха и многих других художников. Псковская картинная галерея — одно из крупнейших областных хранилищ, в ней около пяти тысяч экспонатов.

Как и в прежние годы, художественный музей является центром художественной жизни Пскова и области. Здесь постоянно организовываются выставки произведений советских художников, народного творчества. И сегодня узкими бойницами окон смотрят на современное здание музея Поганкины палаты — так встретились во времени «век нынешний и век минувший».

Розанна Миропольская

**Псковский Государственный
историко-архивный и художественный
музей-заповедник**



**И. Репин
«Портрет Н. Д. Ермакова»
1914**

ВСЕСОЮЗНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА
«СССР — НАША РОДИНА»
1982

Цена 50 коп.

Индекс 70033



Я. Осис (Рига)
«На страже»
1982